

Жорж Батай  
Колетт Пеньо (Лаура)

Centre de la Crème



# Сакральное





**МИТИН ЖУРНАЛ**  
**KOLONNA PUBLICATIONS**

СЕРИЯ  
**Crème de la Crème**  
ЯВЛЯЕТСЯ  
СОВМЕСТНЫМ ПРОЕКТОМ ИЗДАТЕЛЬСТВ  
Kolonna Publications и Митин Журнал

ББК 84 7 Фр

**Ж О Р Ж   Б А Т А Й**  
**КОЛЕТТ ПЕНЬО (ЛАУРА)**  
**с а к р а л ь н о е**  
*Перевод Ольги Волчек*

в оформлении обложки  
использована картина ВИКТОРА БРАУНЕРА  
«РОЖДЕНИЕ МАТЕРИИ» (1940)

редактор: ОЛЬГА КОБРИНА  
дизайн обложки: ИВАН БОГДАНОВ  
верстка: ЕЛЕНА АНТОНОВА  
руководство изданием: ДМИТРИЙ БОЧЕНКОВ

**ISBN 5-98144-025-2**

© Ольга Волчек, перевод, 2004  
© Сергей Фокин, предисловие, составление, 2004  
© Митин Журнал, 2004  
© Kolonna Publications, 2004

**Жорж Батай**  
**Колетт Пеньо (Лаура)**

**САКРАЛЬНОЕ**

*перевод Ольги Волчек*

## Сергей Фокин ЛАУРА ИЛИ «УДАЧА» ПИСАТЕЛЯ

В жизни писателя возлюбленная может играть разные роли: любовницы или музы, заботливой матери или непоседливой дочери, премудрой советчицы или непримиримой соперницы. Может играть несколько из этих ролей, какие-то другие... Жизнь писателя преобразается, если не сказать – оказывается под угрозой, когда любимая не хочет играть роли, не хочет быть для него кем-то – любовницей или музой, соперницей или советчицей, когда она хочет быть не кем-то, а всем. Угроза маячит не столько от бесформенности, которая привносится в существование любым всеядством, сколько от странного, для некоторых – невыносимого, удвоения формы: ведь желая быть всем, такая женщина неминуемо повторяет собственное существование мужчины, которое редко кому из сильного пола не мнится необыкновенным, исключительным, неповторимым. Экспроприация собственно мужского в повторении – вот чем угрожает «второй пол» тому, что именует себя «сильным».

Эта угроза усиливается, когда спутница, желая быть всем, замахивается на самое «святое», что только есть у писателя – на литературу. Как правило, женщины сторонятся определенного рода литературы – той, где речь идет не о жизни, какой бы она вид ни принимала, а только о смерти. Ведь женщина и жизнь – сестры-близнецы, из чего, разумеется, отнюдь не следует, что мужчина и смерть – близнецы-братья. Смерть – удел немногих, избранных, более того – тех избранных, кто твердо знает, что избран смертью и отдается ее стихии, безоглядно прожигая жизнь, что можно делать, разумеется, по-разному. В этом отношении литература есть не что иное, как прожигание жизни; ведь, отдавая себя литературе, человек

делает ставку не на жизнь, какой бы та вид ни принимала, а на небытие.

Замахиваясь на такого рода литературу, женщина, как, впрочем, и мужчина, словно перестает быть самой собой, вовлекается, сказал бы Жиль Делез, в опасное становление-писателем, то есть становление-Другим-существом. Не мужчиной, конечно же, становится женщина, а мужчина – не женщиной: и он, и она становятся странного – среднего (сказали бы мы, используя соответствующее подразделение грамматической категории «рода» в русском языке) рода существом, писателем, в котором сливаются до неразличимости мужские и женские черты и в котором всякий внимающий читатель угадывает самого себя. Литература и начинается с этой способности сказать «я» так, будто говоришь от третьего лица, а «он» – будто бы от себя. Литература не знает не только рода, но и лица. Безличность литературы, предполагающая крушение «собственного», «мужского», «женского», всех перегородок «я»-«ты»-«он»-«она», – неперемное условие сообщения, которого и добивается писатель. На это делается самая большая ставка литературы.

Ставка предполагает игру: писатель, ставящий на смерть, играет с жизнью – своей собственной и жизнью своих близких. Мало кто из писателей XX века так безрассудно играл своей жизнью. как Жорж Батай (1897-1962); мало кто из возлюбленных того или иного писателя так безоглядно вторил экзистенциальному опыту своего спутника, как Коlette Пеньо (1903-1938), которой случилось на несколько лет стать возлюбленной автора «Истории глаза». Она, впутавшись в его «игры» и «истории», не только отважилась разделить не самый упорядоченный образ жизни того, кто иным современникам, да и самому себе, представлялся сексуальным «извращенцем»; не только не остановилась перед тем, чтобы полностью войти в образ мучавших его творческое воображение инфернальных героинь садомазохистского склада (псевдоним

«Лаура» отсылает как к Петрарке, так и к де Саду, небезосновательно мнившего себя потомком той, чьей памяти была посвящена «Концоньере»); не только проникла в его книги под «божественными» именами «Доротеи» («Синь небес») и «Госпожи Эдварды»; но и, в некотором смысле, «переиграла» своего партнера, внушив ему своей смертью как чувство непоправимого жизненного поражения, так и ставшую для него заветной мысль, что если и есть какая-то онтология литературы, то самыми несомненными – и одновременно зыбкими, шаткими, неустойчивыми – ее основаниями могут быть только два чувства: чувство смерти и чувство вины. Чтобы быть писателем, мало сознания смерти – должно винить, казнить себя, что живешь и пишешь.

Но сами по себе эти основания недостаточны: необходимо, чтобы они сошлись, совпали или скрестились в одном «внутреннем опыте», а для этого мало будет искать соприкосновения со смертью, мало будет искать вины – необходима «удача».

«Внутренний опыт» (1943), «Виновный» (1944), «О Ницше, или Воля к удаче» (1945) – три книги, написанные Батаем под знаком живой и мертвой Лауры, составили первые тома «Суммы атеологии», науки богопознания через сообщение, достигаемое в моменты суверенности – в неистовствовании письма (преступающая через все запреты литература) и существования (не ведающая никаких запретов любовь, смех, слезы, ярость, забубенное пьянство, все возможности (само)растраты, все состояния вне себя).

Книга «Виновный», центральная часть триптиха, создавалась Жоржем Батаем под двойным гнетом: разразившейся войны, которая погрузила мысль писателя в стихию уже не умозрачительной, а действительной смерти, и мучительной вины, которая усугублялась тем, что теперь, под гнетом войны, то есть смерти, он стал ближе к умершей год назад, 7 ноября 1938 г., Лауре. Это двойное угнетение диктовало самые душераздирающие фрагменты «Виновного» об –

### **Удаче:**

«Вообразить себе невероятной красоты мертвую женщину: она не бытие, в ней нет ничего уловимого. Никого нет в спальне. Бога нет в этой спальне. Спальня пуста.

...Как узнать удачу, не заручившись для этой цели силой любви, которая **прячется**?

Удачу творит немыслимая любовь, которая бросается в безмолвии в голову. Она, словно молния, бьет с высоты небес, и она это я! Разбитая молнией капелька, один только миг: ослепительнее самого солнца».

### **Игре:**

Я принимаю сторону тех, кого люблю за вызов. Мне не стерпеть, когда я вижу, что они забывают об удаче, коей они могли быть, если бы играли.

Л. когда-то играла. Я играл с Л. И нет мне покоя с тех пор, как я выиграл. И мне не остается ничего другого, как играть дальше, оживить эту по-настоящему безумную удачу...

Л. играла и выиграла. Л. умерла.

Очень скоро, говорила мне Л., почва уйдет у тебя из под ног.

### **Проигрыше и становлении писателем:**

Мой ужас удвоился: лицо Лауры смутно напоминало лицо жесточайшие трагичного мужчины: пустое и полубезумное лицо Эдипа. Это сходство усилилось во время агонии, когда она сгорала на глазах, но особенно в те мгновения, когда она гневалась, обрушивалась на меня всей своей ненавистью. Ведь я убежал, убежал от того, с чем вот так сталкивался: я убежал от своего отца (двадцать пять лет тому назад, во



*время немецкого наступления, я бросил его на произвол судьбы, доверив заботам нашей домработницы; он был слеп, разбит параличом и испытывал невыносимые боли); я убежал от Лауры (убежал морально, поддавшись страху, я часто ей переречил, но был с ней до конца, иначе и быть не могло, я оставался с ней, насколько у меня хватало сил, но по мере приближения агонии, я стал искать укрытия в каком-то болезненном оцепенении; порой напивался... меня там словно и не было».*

Была ли удачей встреча с Жоржем Батаем для самой Колетт Пенью? Ответ на этот вопрос чрезвычайно затруднителен: ее близкие, мать, сестра, брат, бывший любовник Борис Суварин, наконец Элизабет Барилле, автор блистательной биографии Лауры<sup>1</sup>, считали эту встречу скорее губительной для нее. Оказавшись в компании с Батаем, она будто поставила крест на своей жизни, всецело отдавшись тому влечению к смерти, которым пытался жить Батай и которым она сама была захвачена с самого нежного возраста. Но как бы ни отвечать на этот вопрос, нельзя отрицать одного: именно в компании с Батаем, в сообществе и со-общении с ним Колетт стала писателем. Не писательницей, не автором душещипательных, любовных, авантюрных или так называемых «феминистских» романов – Лаура является, по словам видного французского поэта, философа и лингвиста Жана Пьера Фая, «одним из самых поразительных писателей нашего века и нашего языка»<sup>2</sup>. Более того, в компании с Батаем, причастившись той самой «смерти другого», исходя из которой человек только и может зажить «вне себя», «для

1 Barillé E. Laure: La sainte de l'abîme. – Paris: Flammarion, 1997

2 Ecrits de Laure. Texte établi par J. Peignot et le Collectif Change. – Paris: Jean-Jacques Pauvert, 1977. – P. 7.

другого», словом, в сообществе и в сообщении с ним<sup>1</sup>, Лаура стала соучастницей одной из самых поразительных религиозно-чувственных мистерий мировой культуры, сравнимой разве только с той «божественной комедией», что разыгрывалась между Терезой Авильской и Иоанном Креста, но отличной от нее тем, что святость здесь достигалась не умерщвлением плоти, а разжиганием её, не вознесением, не воспарением в «синь небес», а целеустремленным погружением в пучины сладострастия, отчаянным низвержением в пропасть пола – «Святая бездны»<sup>2</sup>, так назвал Лауру Мишель Лейрис, ближайший друг Батая и верный конфидендент Колетт.

В дневниковых записях Лейриса, относящихся к последнему году жизни Лауры, сохранился замечательный экзистенциально-психологический портрет этой женщины, ценность которого только вырастает из-за того, что это не прямая биографическая зарисовка, передающая, как правило, наиболее броские, характерные, особенные черты человека, а своего рода самоотчет писателя, для которого достижение предельной искренности, подлинности, честности по отношению к себе составляло важнейшую творческую задачу. Другими словами, в этих набросках к автопортрету Лейриса можно и нужно увидеть те черты Лауры, которые являют нам не повзрослевшую «маленькую девочку», а образ вовлеченного в смертоносное становление подлинного писателя, «встреча» с

1 Ср. это рассуждение Мориса Бланшо, навеянное раздумьями над опытом Батая и, отчасти, Лауры. «Необходимость присутствовать при окончательном отходе умирающего, принимать на себя смерть другого как единственную смерть, имеющую ко мне касательство, – вот что буквально выводит меня из себя, вот что можно считать единственным разрывом, который во всей его невозможности может открыться для меня передо мной вместе с открытием какого-либо сообщества» (Бланшо М. Неопишемое сообщество. – М., МФФ, 1998).

2 *Leiris M. Frêle bruit.* – Paris: Gallimard, 1976. –P. 345.

которым обернулась несомненной «удачей» и для автора «Возраста мужчины»<sup>1</sup>, самой пронзительной писательской автобиографии во французской литературе XX века.

Несколько штрихов к портрету Лауры из «Дневника» Лейриса за 1938 г.:

*«...я был в превеликом отчаянии, излагал свои проблемы. По отношению ко мне К. [олетт Пеньо] представляла ясный взгляд на вещи, энергичность, оптимизм [...]*

*Жак Риго: самоубийство придает вес его творчеству, которое в противном случае не имело бы никакого веса. К. [олетт] против самоубийства [...]*

*Марсель Дюшан, его совершенная безрелигиозность; его восприятие абсурда; его понятие «анахронизма» (невозможность – квази-невозможность – создать такое произведение, что создается сию минуту, а не тащит за собой массу мертвых, ушедших в прошлое вещей); логическая проблема живописи: когда выводил линию, почему направляешь ее налево, а не направо? Похоже, что К.[олетт], понимая все это, остается чуждой такого рода заботам[...]*

*Объяснение причины моего возвращения: смертная тоска после этого разговора, он показался мне насквозь лживым, мне не удалось выразить себя, у меня было чувство, что я лукавлю. Кроме этого (но об этом я молчу) есть ощущение несогласия, ибо вопреки моим ожиданиям К[олетт] мне ничего не сказала[...]*

<sup>1</sup> Лейрис М. Возраст мужчины / Пер. и франц. О. Волчек и С. Фокина. – СПб.: Наука, 2002.

*На что я делаю упор:*

*Я лукавил. Говорил о Риго (подразумевается: отождествлял себя с ним), а сам пошел на лекцию, а ведь он покончил жизнь самоубийством.*

*Лукавство, обман исповеди и исповедальной литературы: когда мы исповедуемся, мы делаем это не столько для того, чтобы сказать правду, сколько для того, чтобы представить себя трогательным персонажем. К тому же всего никто и никогда не говорит. Есть еще этот прием, когда используется определенная интонация.*

*Нет и не может быть никакого катарсиса от исповеди. Для катарсиса необходимо, чтобы то, что вам надлежит сказать, приобрело некую форму, своего рода психологию. В этом смысле катарсис достигим только через поэзию, через лиризм.*

*Тем не менее поэзия должна быть деянием, а не исповедью. Я написал «Аватисо» (сборник стихов на темы тавромахии – каждое стихотворение представляет собой описание определенного движения тореадора – С.Ф.), чтобы раз и навсегда покончить с исповедальной поэзией: каждое из стихотворений определяется каким-то реальным событием, которое идет извне. Нет никакого сомнения, что детерминированная таким образом поэзия может заключать в себе много больше, нежели те стихи, в которых мы лишь передаем то, что у нас на сердце... Если мне и случается прибегать к исповедальной литературе, я делаю это по той единственной причине, что такая исповедь содержит в себе «деяние», заключает в себе поступок: показать каков ты есть, никого не обманывая; обнажиться; но сейчас мне отвратительна любая исповедь, ибо люди исповедуются, питая – в той или иной мере – надежду взволновать собеседника или отпустить себе грехи.*

*Кажется, что К[олетт] со всем согласна. Отмечаю для себя, что говоря об этом, я все равно лукавлю, ибо как раз и изображаю из себя трогательного персонажа. Во всем, что мы говорим о себе, присутствует обман, мошенничество.*

*К[олетт] не согласна со следующим моментом: я говорю, что следовало бы писать и иметь мужество не публиковать, ибо публикация – то же самое, что проституция, она возмущает и говорит о необходимости сообщения. Я говорю о своем отвержении к этому эксгибиционизму, который заключает в себе литература, напоминаю о том, что сказал мне однажды Пикассо: «Читать стихи на публике – это все равно, что раздеться перед ней догола».*

*Мы приходим к согласию, находя, что полной проституции все равно не получается, ибо всего о себе не скажешь, не бывает и совершенного сообщения, ибо всегда оставляешь что-нибудь только для себя.*

*Я объясняю, почему не могу больше писать стихов: чтобы иметь право говорить, необходимо быть уверенным в том, что: 1) не заговоришь под пытками (чтобы не выдать товарищей); 2) в любых обстоятельствах сможешь мыслить поэтически (Шенья писал свои стансы в ожидании эшафота). Говорю также, что бегство Рембо, безумие и самоубийство Нервала – это их плата за право быть поэтами.*

*В отношении 1) К[олетт], которой я в очередной раз признаюсь в своем страхе перед физической болью, говорит мне, что не боится боли и рассказывает, что ей случалось прижигать себе руки сигаретами – чтобы приучить себя терпеть боль. Что касается того, чтобы стерпеть пытку и не выдать товарищей, то она говорит, что гораздо труднее совершить преступление и никому не сказать о нем ни слова, при любых обстоятельствах отрицать свою вину. Кто среди*

наших знакомых способен на преступление? К[олетт] говорит, что Массон. Она говорит также, что для нее значит агрессивность: радость, опора. Я признаюсь, что не испытываю никакого желания показывать свою агрессивность, что это так же ничтожно, как и все остальное. К[олетт] уже случилось испытывать желание убить. Мне – никогда; если мне и захочется кого-то убить, то только самого себя.

В отношении 2) она говорит мне, что не считает, что для того, чтобы писать стихи, следует чувствовать себя способной мыслить поэтически при любых обстоятельствах. Что до смерти, то она ее не боится. В ответ на историю про Шенье она рассказывает об одном русском революционере, который перед смертью думал только о своем «белом воротничке»: она говорит, что чем писать стихи, она лучше будет думать о чем-нибудь в таком роде.

Когда я признаюсь в своем пессимизме (все абсурдно, ибо человек смертен; я не способен иметь действительную связь с другим человеком, как неспособен к какой-либо стоящей деятельности; в самом деле, ведь нет такого человека и нет такой деятельности, ради которых я смог бы превозмочь страдание и смерть; только изредка я бывал способен посмотреть смерти в лицо и так же, как и К[олетт] считаю трусость главным грехом. Она говорит мне о своей любви к Ж[оржу] Б[атаю], это чувство задает смысл всей ее жизни [...])

Возможно, в этот же день я говорил К[олетт] о том, что ничто в литературе не волнует меня так сильно, как следующая задача: написать книгу или стихотворение, название которого в одном слове заключало бы в себе всю суть – в одном единственном слове, а сама книга или стихотворение были бы к нему комментарием.

*По поводу подлинности, касательно К[олетт] и меня: стихотворение, которое было бы своего рода последним словом умирающего [...]»<sup>1</sup>.*

### ***Последнее слово***

По существу говоря, все «Сочинения» Лауры, публикуемые в этой книге, могут быть отнесены к жанру «последнего слова умирающей»: не что иное, как порог смерти, на котором прожила свою столь недолгую и столь бурную жизнь эта женщина, был опорой подлинности ее жизненного опыта и литературного творчества. Вместе с тем, не следовало бы, наверное, романтизировать или демонизировать ее образ, как это делается в иных биографических или мемуарных трудах, ибо при всей исключительности и незаурядности своей натуры Колеетт Пенью являлась «дитем» своего времени и «Историю одной маленькой девочки» следует, наверное, читать как «Исповедь дочери века».

Она родилась в начале XX столетия в богатой парижской семье, чье преуспеяние и устоявшийся уклад жизни могли служить надежной гарантией безоблачного существования очередной «благовоспитанной девицы» буржуазного круга: строгое религиозное воспитание, уроки музыки, необременительные занятия литературой или искусством, хорошая партия, собственный дом. Но наступающий век быстро развеял обычные буржуазные мечтания, разметал по полям сражений, кладбищам и госпиталям саму «мечтательную буржуазию». Война 1914-1918 гг. привнесла в культурную жизнь Европы новый элемент, отныне европейское сознание было принуждено существовать в стихии смерти.

1 *Leiris M. Journal. 1922-1989. – Paris: Gallimard, 1992. – P.316-319.*

Смерть далеко не сразу выплеснулась в литературу, поэзию или философию: поначалу она словно бы зажимала рот очевидцам («никаких историй о сражениях мы не дождались», напишет Лаура в «Истории одной маленькой девочки, рассказывая об этом завораживающем молчании фронтовиков), проводя внутреннюю, сокровенную работу в умах, заставляя всякого пишущего усомниться в тех выразительных возможностях, которые были унаследованы от культурных традиций. Стихия смерти, захватившая тогда европейское сознание, поставила под вопрос правомерность традиций вообще – литературных, культурных, социальных. Она оставила человека наедине с собой. Если в начале столетия клич «Семьи, я вас ненавижу!», брошенный одним из героев Андре Жида, мог восприниматься не иначе, как безрассудный эпатаж зарвавшегося индивидуалиста-имморалиста, то после Большой войны ненависть ко всему миру, обеспечившему безраздельное торжество смерти, к буржуазной морали, во имя которой смерти были преданы миллионы добропорядочных буржуа, к буржуазной семье, отправившей – безропотно или в порыве патриотического великодушия – на заклание отцов, сынов, братьев; эта ненависть захлестнула или, по меньшей мере, затронула многие круги европейского общества, вызвав к жизни целый ряд нигилистических и радикально противобуржуазных движений в политике и искусстве – от коммунистической, консервативной или национал-социалистической революции до дадаизма или сюрреализма.

Не что иное, как Большая война и последовавший за ней революционный порыв внесли радикальные изменения в «женский удел»: никогда прежде женщина не была настолько предоставлена самой себе, как в первые послевоенные годы, никогда прежде женщина не была настолько принуждена к самостоятельности, как в это время, никогда прежде она не была столь свободна, как в эту эпоху «отсутствия» мужчин, которые либо погибали на войне, либо



теряли достоинство в тылу. Колеетт осталась без отца, на фронтах Первой мировой вместе с ним погибли три его брата: обыкновенная история того времени: «Я обитала не в жизни, а в смерти. Сколько себя помню, передо мной все время вставали мертвецы: «Напрасно ты отворачиваешься, прячешься, отрекаешься...ты в кругу своей семьи, и сегодня вечером будешь с нами». Мертвецы вели ласковые, любезные или сардонические речи, а порой, в подражании Христу, этому извечно униженному и оскорбленному, нездоровому палачу... они открывали мне свои объятия. Я шла с запада на восток, из одной страны в другую, из города в город – и все время между могил».

Но эта обыкновенность заключала в себе различные, а то и противоположные типы реакции на «жизнь без мужчины»: одни предавались трауру по погибшим, заживо хороня себя и своих близких в тенетах бесплодной памяти (случай матери Колеетт): «Эти совместные рыдания всегда заканчивались самым естественным образом – воспоминаниями об отце. Мы просто твердили его имя, будто он все еще был с нами, это был вызов матери, которая всем своим поведением, даже тоном голоса предавала его смерти вторично»; другие отдавались отчаянным поискам утех, которые могли бы восполнить нанесенные войной опустошения.

В этих поисках ниспровергались казавшиеся незыблемыми идеалы и идолы, рушились вековые опоры существования, без которых жизнь приобретала не то чтобы легковесность или легкомысленность, а, скорее, какую-то необязательность, своего рода случайность, даже абсурдность, ясное сознание которой могло диктовать столь же безрассудные жизненные выборы. Колеетт вступила во взрослую жизнь не только под гнетом нескончаемого семейного траура по отцу, но и под угрозой близкой смерти, которой грозил рано открывшийся туберкулез. Ее ситуация осложнялась тем, что трудный разрыв с семьей (главным образом,

отдаление от матери) совпал как с отторжением католицизма, упорочившегося в доме после гибели отца стараниями нечистоплотного и похотливого кюре, так и с открытием тайн собственного тела; освобождение от пут религии сплеталось со своеволием пола, а поиск действительных, подлинных, не опошленных буржуазностью ценностей существования, не только не исключал, а даже требовал известного рода распушенности, некоей свободы нравов, которая, как казалось современницам и современникам Колетт, была не только вызовом опостылевшей буржуазной морали, но и возможностью возместить пустоты существования, что оставила в их жизни война.

Вместе с тем, поиск Колетт определенно расходился с гедонистическими устремлениями французской «золотой молодежи» эпохи, получившей красноречивое название «безумные годы» и запечатленной в «Дьяволе во плоти» Р. Радиге, «Дневной красавице» Ж. Кесселя, «Жиле» П. Дриё Ла Рошеля, «Возрасте мужчины» М. Лейриса, песнях М. Шевалье и стиле Коко Шанель. Впрочем, начало этому поиску было положено в салоне брата, Шарля Пеньо, где наряду с молодыми светскими львами и львицами собирались художники и поэты, связанные с сюрреализмом, самым радикальным авангардным движением тех лет: тут бывали Л. Арагон, А. Бретон, Л. Бунюэль, Р. Кревель, П. Пикассо.

В салоне брата Колетт познакомилась с человеком, который на некоторое время стал для нее воплощением того идеала противобуржуазности, который она была готова принять. Жан Бернье был одним из основателей философской группы и журнала «Кларте», следовавших откровенно прокоммунистической политической линии, и ярым сторонником сближения коммунистов и сюрреалистов. Колетт стала любовницей Бернье в 1926 г., когда тот переживал далеко не лучший период своей жизни: «Я была для него лучиком», – напишет она в одном из писем того времени. Близкий друг П. Дриё Ла

Рошеля, Бернье (в эссе Батая «Жизнь Лауры» он выведен под именем Поля Рандье) был неутомимым соблазнителем, однако соблазнение, ставшее одной из основных форм существования этой страдавшей от бесформенности эпохи, диктовалось не цинизмом, не «волей к власти» над женщиной, а, скорее, каким-то внутренним надломом: каждая новая соблазненная женщина становилась знаком не только победы, но и очередного поражения. Подобно Сизифу, без конца вкатывающему свой камень, «вечный соблазнитель», переходя от одной женщины к другой, был пленником «абсурда»<sup>1</sup>. Более того, в отношениях с Колетт<sup>2</sup> Бернье выступает как жертва – жертва своих порывов, утрызаний совести, неуверенности, словом, этого комплекса «мужчины, увешанного женщинами», о котором блистательно рассказал Дриё в одноименном романе. Бернье мучается неспособностью любить, которой страдали многие мужчины его круга (сходные переживания нетрудно обнаружить в ранних текстах и жизненных перипетиях Арагона или Дриё), и испытывает глубочайшую потребность в любви; но главное в том, что он хочет быть уверенным в подлинности своих чувств. Не ощущая рядом с Колетт этой «жесточайшей горячки, утоления страсти, отчаянной ненасытности прикосновения к любимому существу, радости пожирания его чудесного присутствия»<sup>3</sup>, он приходит к заключению, что не любит эту молодую женщину, которая еще за несколько лет до встречи с Батаем и знакомством с его «теорией траты», выбрала расточительство – прежде всего чувственное, но

1 См «Миф о Сизифе» А Камю, где комплекс донжуанства рассматривается как характерный тип абсурдного существования.

2 История любви Колетт и Бернье воссоздана в книге «Любовь Лауры». *L'Amour de Laure, par Jean Bernier. Textes réunis et présentés par D. Roubardin* Postface de *J. Peignot*. – Paris: Flammarion, 1978

3 Ibid. P. 49.

также, как мы увидим далее, материальное, – правилом своего поведения. В сомнениях, которыми терзался Бернье, ему даже случилось жалеть, что болезнь, которая так и не оставляла Колетт, не заключала в себе более весомой доли «смертельного риска». Явственная угроза смерти казалась ему условием усиления собственной страсти.

В существовании самой Колетт любовь была больше, чем страсть, больше, чем сладострастие, хотя сексуальной неумеренности ей, если судить по некоторым из ее сочинений и свидетельствам знававших ее мужчин, было не занимать. Это было своего рода неистовство, буквально само-забвение, само-утрата, стремление к этой границе, где «Я есть другой» (А. Рембо), где когито от несомненного «я мыслю, следовательно я существую» переходит к особой формуле безличности: «Мною мыслят» (А. Рембо); стремление к границе, которой, случается, достигают поэзия, религия и любовь и которая отделяет мир профанный от сакрального. Безумно растрчивая себя в страсти к мужчине, которому никак не удавалось ни встать на ту высоту, которой она все время искала, ни пасть на то «дно», что ее без конца соблазняло, Колетт решила поставить крест на первой истории любви, покончив с собой. Но попытка самоубийства не удалась: пуля, скользнув по груди, застряла в боку. Колетт отделалась несколькими неделями клиники и многими месяцами швейцарских курортов.

После этого прямого вызова смерти, которая и без того напоминала о своем присутствии всякий раз, когда обострялся туберкулез, Колетт словно прозревает: реальна только смерть, тогда как жизнь ирреальна, допускает все. С этого момента ее существование направляется к тому, чтобы взять от жизни все – от самого постыдного унижения до высочайшего торжества. Этим настроем объясняются, наверное, такие рискованные шаги и «опасные связи» конца 20-х – начала 30-х годов, как знакомство с берлинским врачом и писателем Эдуардом Траутнером, (в эссе Батая «Жизнь Лауры он выведен под

именем Вартберга) автором книги «Бог, современность и кокаин», который, если судить по одному из сохранившихся фрагментов уничтоженного дневника Лауры, обретает в Колетт идеальный объект для удовлетворения своих сексуальных и политических фантазмов. Можно вспомнить также путешествие в СССР, где она испытывает новое разочарование в «сильном поле» – Борису Пильняку, с которым Колетт сближается в то время, тоже не удается оказаться на высоте ее притязания. В конце концов, она расстается с иллюзиями «светлого будущего», дойдя в познании «советского опыта» буквально «до края»: не удовлетворившись банальными, ничемными или лживыми картинами существования москвичей и ленинградцев, Колетт отправляется пожить в подмосковный колхоз, где едва не гибнет от холода, голода и беспросветности русской деревни.

Путешествие в советскую Россию, которое обернулось новым столкновением со смертью, обусловило усиление политической направляющей в поиске Колетт. Весной 1931 г. она становится одной из «активисток» «Демократическо-коммунистического кружка», возглавлявшегося Борисом Сувариным (1895-1984). Борис Суварин (Лившиц) был одним из основателей французской коммунистической партии. Делегат III, IV, V конгрессов Коммунистического Интернационала, близко знавший Ленина, Троцкого и Сталина, он был исключен из рядов ФКП в середине 20-х годов за оппортунизм и стал бесспорным лидером неортодоксального французского коммунизма, устремленного к тому, чтобы преодолеть догматизм доктрины, навязанной коммунистам Франции.<sup>1</sup> С Сувариным Колетт была знакома еще до путешествия в Россию, но по-настоящему их сблизило неприятие советской действительности. Колетт не только активно сотрудничает с организованным Сувариным журналом «Социальная критика», объединившим

1 См.: *Jean-Lois Panné. Boris Souvarine.* – Paris: Robert Laffont, 1993.

на несколько лет инакомыслящих от коммунизма и сюрреализма, но и щедро финансирует его издание. На страницах этого журнала появляются ее первые политические тексты, посвященные актуальным событиям в России, Испании и Франции. Она подписывается именем «Аракс», выбрав название этой закавказской реки за вошедшую в легенду непокорность: Аракс будто бы не терпит на себе мостов. Колетт на несколько лет становится ближайшей сотрудницей и любовницей Бориса Суварина, разделяя его жизнь и политические устремления.

Судя по некоторым мемуарным свидетельствам, именно в кругу сотрудников «Социальной критики» Колетт впервые столкнулась с Жоржем Батаем, который напечатал в журнале Суварина целый ряд принципиальных философско-политических текстов<sup>1</sup>. Нет никакого сомнения в том, что она была посвящена в некоторые особенности существования этого писателя, сопрягавшего теорию и практику эротизма в собственном творческом опыте. Батай-любовник, который любит многих женщин и многими любим, который не упускает случая наведаться в бордель или иное злочастное место, неотделим от Батая-книжника, эрудита и кладезя премудрости, поражающего посетителей Национальной библиотеки неисчерпаемостью своих познаний, от Батая-писателя, сочинения которого исполнены далеко не книжного эротизма и Батая-политика, который пыгается достучаться до современников, предупреждая их о неминуемом наступлении того «зла», которое отвергалось, вытеснялось и проклиналось прекраснодушным гуманизмом и умеренным либерализмом, этим «мифом демократии», ослеплявшим и оскотливившим Европу. Нет никакого сомнения и в том, что Суварин, совершенно чуждый экзистенциальным, литературным и

<sup>1</sup> О сотрудничестве Батая в «Социальной критике» см.: *СЛ.Фоксин. Философ-вне-себя*. – СПб: Изд-во Олега Абышко, 2002, – С. 131-154.

политическим крайностям Батая, мог какое-то время предостерегать Колетт от слишком тесного общения с тем, кто оставался для него, как он сам признавался спустя многие годы, «помешанным»: «Я знал, что Батай помешан на сексе, но меня это не касалось. Я сознавал, что такого рода наклонности могли повлечь за собой нежелательные последствия в плане «химии интеллекта» и просто морали, пусть даже и условной, но я ничего не мог с этим поделать. Кроме того, мне приходилось заниматься вполне серьезными вещами и потому, по большому счету, не было дела до развратных наваждений и садо-мазохистских измышлений Батая, навязчивые отголоски которых докатывались до меня время от времени»<sup>1</sup>. Несмотря на все предостережения, исходившие не только от Суварина, но и от Симоны Вейль, которая также сотрудничала с «Социальной критикой» и сблизилась в это время с Колетт, молодая женщина кинулась к этой новой возможности потерять себя «в другом». Слишком многое предопределило их сближение: печать смерти и предельное безрассудство, постоянное сознание своей болезни и склонность ко всякого рода эксцессам, неприятие окружающего мира и стремление во что бы то ни стало выйти за его границы, обостренная чувственность и необыкновенная способность выходить из себя.

Сцены расставания с Сувариним, сохраненные мемуаристами и биографами, как будто списаны со страниц романов Достоевского. Одна из очевидиц вспоминает, что когда Суварин<sup>1</sup> узнал, что Колетт оставила его ради Батая, то договорился о встрече с ним: «Я находилась в соседней комнате. Это было как в романе

<sup>1</sup> *Souvarine B. Prologue // Critique sociale. (Réédition).* – Paris: Différence, 1983. – Цит. по: *Surya M. Georges Bataille, la mort à l'oeuvre.* Paris: Gallimard, 1992. – P. 242-243.

Достоевского... Борис объяснял ему, как надо себя с ней вести, как следует ухаживать за ней во время болезни...»<sup>2</sup>. О своей жизни с Колеетт Батай попытался рассказать в эссе «Жизнь Лауры», однако этот текст остался незавершенным; гораздо более значительными в этом отношении являются черновые записи к «Виновному» («Могила Лауры»), которые, правда, по большей части не вошли в окончательную редакцию книги, но тем не менее заключают в себе тяжкое свидетельство о том душевном настрое, что владел Батаем в последние дни жизни Лауры и в мгновения ее смерти. Этот опыт стал для него важнейшим мерилom подлинности собственного существования. Не менее тягостные воспоминания о смерти Лауры и поведении Батая в последние дни ее жизни оставил Марсель Морэ, один из самых ярких сподвижников Батая из кругов неортодоксальной католической интеллигенции. Все эти тексты включены в нашу книгу и дополняют экзистенциальными мотивами дошедшие до нас «сочинения» Лауры, одного из самых поразительных писателей французской литературы XX века.

1 В эссе Батая «Жизнь Лауры» он выведен под именем Буренина.

2 *Jean-Lois Panné*. Boris Souvarine. P. 228.



## *Марсель Морэ* **ЖОРЖ БАТАЙ И СМЕРТЬ ЛАУРЫ**

Нас познакомил Мишель Лейрис году в 1935. В ту пору я был ревностным католиком; но мое христианство, напитавшееся с отрочества книгами Леона Блуа, имело, если так можно выразиться, характер «абсолютного» католичества, придававшего куда большее значение «сакральному», нежели «морали»; и, несмотря на то, что Батай, который, если не ошибаюсь, крестился по своей воле в восемнадцать лет, уже многие годы яростно выступал против Церкви, мой католицизм в духе Леона Блуа был ему, судя по всему, симпатичен. В наших разговорах он никогда не позволял себе нападать на мою религиозную жизнь. В общем и целом нас связывали добрые приятельские отношения, когда случилось, что одно драматичное событие, произошедшее осенью 1938 г., вскоре после Мюнхенского соглашения, крепко стянуло узы нашей дружбы.

Еще до того, как я узнал Батая, я был знаком с женщиной, которая поселилась с ним позднее в Сен-Жермен-ан-Лэ. Я познакомился с ней в ту пору, когда она вместе с другими девушками и молодыми людьми – нас было около двадцати человек – входила в довольно закрытую католическую группу, которой руководил один священник. Но по воле обстоятельств она вдруг порвала не только с аббатом, но и вообще с христианством (когда это случилось, я не помню); после этого я потерял ее из виду. Добавлю, что одновременно она отделилась от матери и старшей сестры, истых католичек. Мать однажды сказала ей: «У тебя каменное сердце». «Нет, – ответила она, – мраморное».

Как-то днем – году в 1935 или 36 – она уже знала Батая, но не была с ним близка – мы с Мишелем Лейрисом сидели на террасе кафе «Дё маго». Она сидела за соседним столиком. Мишель захотел нас познакомить. «Не стоит, заметила она, Морэ я уже давно

знаю». Тем не менее, она была смущена: она объяснила, что с учетом своей нынешней резко антирелигиозной позиции, она поклялась себе не встречаться с бывшими друзьями по Католической группе – и вот я перед ней. Смущение усиливалось тем, что очень быстро выяснилось, что у нас много общих знакомых и нам предстоит довольно часто встречаться. Что и произошло. Несмотря на мои опасения, она быстро свыклась с моим присутствием. Нам случилось и разговаривать, даже и наедине. Я стал ее конфиденнтом.

Она уже какое-то время прожила с Батаем, когда осенью 1938 г. вдруг тяжело заболела. Я ее часто навещал. Однажды она попросила меня принести номер «Нового французского обозрения», где был напечатан перевод «Бракосочетания Неба и Ада» Уильяма Блейка.

Смерть наступала ее семимильными шагами, надо было предупредить мать. Поскольку я знал семью, эта миссия была возложена на меня.

Агония – всегда драма, но на этот раз некоторые обстоятельства сделали эту драму почти невыносимой. В комнате умирающей по одну сторону кровати сидели мать и сестра, по другую – Батай и два или три его друга. Умирающая уже не говорила, и обе стороны напряженно следили – движимые противоположными, разумеется, чувствами – не даст ли она как-нибудь знать, что с приближением смерти к ней вернулась вера. Она скончалась, не предоставив ожидавшихся матерью и сестрой доказательств. Я точно помню число: это было 7 ноября 1938 г.

Сразу встал вопрос о погребении. Стороны не обменялись на этот счет ни словом. За несколько дней до этого мать испросила через меня у Батая разрешения привести священника, он ответил, что никогда нога священника не переступит порога его дома. Когда дочь испустила последний вздох, мать сказала мне: «За порогом этого дома ее тело будет принадлежать мне, они не были женаты». Она стояла на том, что должно быть отпевание. Когда я

передал Батаю это требование, он, опять же через меня, передал такой ответ: «Если дело дойдет до мессы, я застрелю священника прямо у алтаря, так и знайте». Зная Батаю достаточно долго, я был бы удивлен, если бы он исполнил свою угрозу, ибо, несмотря на все свои теории «преступления», он, с моей точки зрения, не имел в себе абсолютно ничего от преступника. Тем не менее, мне казалось, что следовало найти какой-то примирительный выход, и я уговорил мать отказаться от идеи религиозного погребения.

Тем не менее, похороны состоялись. Я и теперь вижу эту комнату: посередине гроб, в одном углу две женщины в черном траурном крепе, в другом – Батай с друзьями, в светлых костюмах и ярких галстуках. Тишину нарушают лишь служащие похоронного бюро. Когда они собрались закрыть крышку, Батай сделал несколько шагов вперед и положил на тело умершей несколько страничек – «Бракосочетание Неба и Ада» Уильяма Блейка, он их вырвал из журнала. После этого вернулся на место. В этот миг мать покойной сделала мне знак подойти: «Мне бы хотелось его поцеловать. Вы можете спросить у него позволения?». Я передал просьбу Батаю: «Ничего не имею против». И все увидели, как два существа, которые на протяжении многих дней делали вид, что не видят друг друга, которые если и обменивались взглядами, то исключительно с ненавистью, пошли друг другу навстречу и, оттолкнув служащих похоронного бюро, поцеловались над гробом.

Через несколько дней мать призналась мне, что сильнее всего ее теперь удручает то, что они не были женаты. «Я была бы счастлива иметь такого зятя».

Думаю, что никогда в жизни мне не доводилось пережить таких душераздирающих событий. В сущности, я наблюдал столкновение двух «сакральных» миров. Наблюдал, как ненависть может сблизить врагов. В этой драме я узнал Батаю так, как не мог узнать ни из одного из его сочинений.

## Жорж Батай

### ЖИЗНЬ ЛАУРЫ

На этот момент, когда я начинаю жизнеописание Лауры, уже прошло четыре года с того дня, как она умерла. Начиная писать, я не знаю, до кого дойдут эти страницы, и так как внешне они ничем не отличаются от других, где автор выдумывает, я заверяю, что в этой книге нет ни одного слова, где автор не желал бы с особым тщанием ограничиваться тем, что знает.

Этот рассказ продолжает «Историю одной девочки», в которой Лаура сама рассказала о своем детстве. К этой истории я лишь добавлю следующие детали. Лаура родилась в Париже 6 октября 1903 года. Она принадлежит к богатому семейству, правда, не старинному, так как ближайшие предки отца достигли богатства, поднявшись из ремесленного сословия. Дом родителей Лауры находился рядом с больницей Святой Анны.

Я не буду долго распространяться об отроческом периоде жизни Лауры и тех годах ее жизни, что предшествовали нашему знакомству. Я напишу о своей жизни с ней, но для начала несколько слов о том, что этому предшествовало и о чем она сама мне рассказывала. Жизнь Лауры носила беспутный характер, правда, случилось это не сразу. Примерно в 1926-1927 годах в доме брата ей доводилось встречать Кривеля, Арагона, Пикассо. Тогда же она познакомилась с Луисом Бунюэлем. У брата она познакомилась с Полем Рандье, своим первым любовником. Отец Лауры погиб во время войны 14 года (как и трое ее дядей, в Париже есть улица, носящая имя Четырех братьев...), располагая значительным состоянием, она, порвав с семьей, последовала за Рандье на Корсику. Это было трудное решение. С Рандье Лаура уживалась плохо. Мне неизвестно, сколько времени продлилась эта связь. В 1928 - 1929 гг. она

оказалась в Берлине, где около года жила у немецкого врача Людвиг Вартберга, автора брошюры под названием «Gott, Gegenwart und Kokain» (Бог, современность и кокаин).

В «Сакральном» она сама описала свою жизнь с Вартбергом (которого я не знаю, не знаю даже жив ли он). Вот этот отрывок:

«Я бросалась в кровать, как бросаются в море. Чувственность словно отделялась от моего существа, я выдумала ад, край, в котором все было не так, как в реальности. Никто не мог ко мне приблизиться, меня искать, найти. На следующий день этот мужчина говорил мне: «Ну что ты себе места не находишь, дорогая, ты продукт разложившегося общества... лакомый кусочек, в этом твоя роль, так и знай. Играй эту роль до конца, и ты послужишь будущему. Ускорив распад общества, ты сохраняешь дорогую тебе схему, служишь своим идеям, кроме того, с твоей-то порочностью – не так много женщин любят, чтобы их избивали до потери чувств – ты могла бы заработать много денег, ты знаешь это?» Однажды ночью я сбежала. Дошла до края, достигла в своем роде совершенства. В два ночи бродила по Берлину, у Центрального рынка, в еврейском квартале, затем, на расвете, уселась на скамейке в зоологическом саду. Ко мне подошли два человека и спросили, который час. Я долго их разглядывала, прежде чем ответить, что у меня нет часов. Они подошли ближе, как-то странно глядя на меня, затем один из них сделал знак своему компаньону, посмотрев в сторону. Я тоже повернула голову: в ста метрах от нас стоял полицейский; наверное, они собирались вырвать у меня сумочку или что-то в этом роде. До чего мне это было безразлично, и как бы мне хотелось с ними просто поболтать. Ведь в конечном итоге, что получается: ты в полном смятении, ходишь по улицам в водовороте толпы, которая несет тебя как щепку по волнам, думаешь о самоубийстве, но у тебя в руках сумочка и ты замечаешь, что чулок порвался. Пара минут... и они ушли, почти сразу же подошел полицейский и стал меня расспрашивать. Что я тут делаю? Дышу воздухом.

Вам что, негде жить? Да нет. Где вы живете? Я назвала адрес, в весьма «богатом буржуазном» квартале. Он онемел. Потом снова заговорил: Что я здесь делаю? Дышу воздухом. Мои документы? Разве, чтобы подышать воздухом, нужен паспорт? Потом я снова заснула».

Я должен объясниться, прежде чем продолжать дальше: я решил написать эту книгу несколько месяцев назад, но все откладывал, и когда недавно наткнулся в своих бумагах на фотографию Лауры, ее лицо вдруг подтвердило страх, который я испытываю перед людьми, оправдывающими свою жизнь. Этот страх оправдать свою жизнь настолько велик во мне, что не прошло и четверти часа, как я принялся писать эту книгу. Красота Лауры являлась лишь тем, кто умеет угадывать. Ни один человек не казался мне столь непоколебимым и чистым, я не встречал более «независимой» натуры, но все это оставалось в тени. Ничего не являлось наружу.

В берлинский период она одевалась с особым изыском... черные чулки, духи и шелковые платья от известных модельеров. Она жила у Вартберга, никуда не выходя, ни с кем не видясь, лежа на диване. Вартберг надевал на нее ошейник; таскал на поводке, бил плеткой, как собаку. Он смахивал на каторжника, но это был мужчина в годах, энергичный и утонченный. Один раз он заставил ее съесть сэндвич, намазанный внутри его собственным говном.

Сюрреализм пленил Лауру, но «анкета о сексуальности» ее обескуражила: она сделала из нее вывод о личном ничтожестве сюрреалистов. Тогда же стала читать Сада, не без некоей восторженности, но все же в этой дерзости она ощутила страх, женственность. Она была во власти необходимости отдавать себя целиком, откровенно. Она хотела отдать себя революции, но все вылилось в лихорадочную суету.

Лаура стала учить русский и отправилась в Россию. Там она бедствовала и была очень одинока, питалась в столовых, изредка

заходя в рестораны в шикарных отелях для иностранцев. В России Лаура познакомилась с несколькими русскими писателями. Была любовницей Бориса Пильняка, о котором у нее осталось скверное воспоминание, правда позже, в Париже, она с ним снова виделась. Она бывала в Ленинграде, но большую часть времени провела в Москве. Устав от такой жизни, она загорелась узнать и даже разделить жизнь русских крестьян. Поселилась в бедной мужицкой семье в глухой деревне в самый разгар зимы. Она едва вынесла это непомерно суровое испытание, после которого в тяжелом состоянии ее доставили в одну из московских больниц. За ней приехал брат, который перевез ее в Париж.

Тогда она жила на улице Блеме. Испытывая ко всему отвращение, она иной раз старалась обратить на себя внимание самых вульгарных типов и отдавалась им где попало, случалось и в туалете поезда. Но не получала от этого никакого удовольствия.

Она сошлась тогда с Леоном Бурениным<sup>1</sup>, который попытался ее спасти, относился к ней как к больной, как к ребенку, был для нее больше отцом, чем любовником.

Чуть позже она познакомилась и со мной. Мне приходилось слышать о парижских оргиях ее брата, но Лаура была сама чистота, гордость, скромность.

В первый раз я увидел ее в ресторане «Липп», она ужинала с Бурениным: я сидел за столиком напротив и ужинал с Сильвией. Я был удивлен, видя Буренина (далеко не красавца) рядом с такой красивой женщиной. Тогда она только-только поселилась на улице дю Драгон, где я был у Буренина как-то вечером. Я с ней мало общался. Это было в году 31-ом. С первого дня я ощутил, что мы прозрачны друг для друга. Она сразу же внушила мне безграничное доверие. Правда, тогда я об этом совсем не думал.

1 Один из основателей Французской коммунистической партии.

В то время мое существование имело для нее гораздо больше смысла, чем ее для меня. Я был автором «Истории глаза», Буренин прочел эту книгу и счел, что ей не стоит ее читать. Нам нравилось встречаться, говорить серьезно о серьезных проблемах. Я никогда не испытывал большего уважения к женщине. К тому же она показалась мне совсем не такой, какой она была: сильной, твердой, тогда как она была сама хрупкость, сама растерянность. В тот момент в ней отражалось что-то от предприимчивого характера Буренина.

В январе или феврале 1934 я заболел, был прикован к постели. Раз или два она навещала меня. Мы говорили только о политике. В мае мы поехали на три дня отдохнуть в загородном доме (в Рюэле), Буренин, она, Сильвия и я. Я понял, что ее отношения с Бурениным испортились. Вышло так, что за столом Буренин вдруг заспорил со мной, горячо, агрессивно. Между мной и Лаурой царило молчаливое согласие. Во время прогулки она заговорила со мной: на сей раз отнюдь не о политической жизни. Все было смутно. Мы старались как можно чаще оставаться вдвоем. Буренин понимал, что между нами что-то происходит, предчувствовал неизбежное и давал волю своему несносному характеру.



## Жорж Батай

### МОГИЛА ЛАУРЫ

Не есть ли Бог человек, для которого смерть или, скорее, размышление о смерти является невероятным развлечением?

Некорректная постановка вопроса? Кто бы сомневался!

Правда, речь, скорее, не о вопросе и даже не о речи – о смехе. Но не совпадают ли, в конечном счете, смех и речь (я разумею речь, которая, не попадаясь в силки, не страшится ни одного из своих следствий)?

Книга эта – взрыв хохота; хохота тем более буйного, что исторгается он из груди человека, который, воспользовавшись благоприятными обстоятельствами, постарался (с большим трудом и едва ли не напрасно) замкнуть свою жизнь видом на смерть (впрочем, жизнь быстро взяла свое, жизнь самая что ни есть пронзительная, временами просто душераздирающая).

Эти обстоятельства (независящие от личной жизни автора) связаны с объявлением войны в 1939 году. Строго говоря, автор сложил свою книгу из «дневника», который он стал вести в тот день, когда разразилась война. Это был своего рода порыв, с которым ему не удалось совладать, ведь никогда прежде автор, а ему на то время было за сорок, не вел дневника. И вдруг, очутившись перед исписанными страницами, он подумал, что ничто из написанного прежде не было для него столь дорого, ничто не выражало его с такой полнотой. Пришлось, правда, убрать те места, где говорилось о других людях (в частности, об одной умершей женщине, кстати, о ней вспоминает и Мишель Лейрис в «Правиле игры»): в этой книге бешено неистовствовали слезы и смерть.

Сегодня автора поражает, что наряду со слезами и смертью в «Винновом» неистовствует Бог (...)

*14 сентября 1939 г.*

Вчера ходил на могилу Лауры; едва вступил за порог дома, как ночь так почернела, что я засомневался, найду ли дорогу; она, черная ночь, так взяла меня за горло, что я ни о чем другом думать не мог: то есть мне не удавалось впасть в это состояние полужестаза, что овладевало мной всякий раз, когда я направлялся к могиле Лауры. Прошло немало времени, когда, где-то на полпути, все сильнее ощущая свою потерянность, я вдруг вспомнил о нашем восхождении на Этну, это воспоминание вызвало во мне дрожь: той ночью, когда мы с Лаурой поднимались по склонам Этны, кругом стояла такая же жуткая темень, угнетавшая нас какой-то неясной угрозой (для нас это восхождение на Этну было крайне значительное: ради него мы отказались от путешествия в Грецию – нам удалось вернуть часть денег за круиз; и вот, с восходом солнца, мы на гребне огромного и бездонного кратера – мы выбились из сил, были вне себя из-за этого слишком необычайного, слишком бедственного одиночества, терзаясь неизъяснимой скорбью, мы заглянули в разверстую рану, в расщелину этой звезды, на которой нам выпало дышать воздухом. Картина пепла и пламени, написанная Андре Массоном после наших рассказов о восхождении на Этну, была рядом с Лаурой, когда она умирала, она и по сей день в моей комнате. На полпути, когда мы вступили в поистине адовы края, вдали, на самом краю долины, угадывался кратер вулкана и невозможно было вообразить себе другое такое место, где ужасающая неустойчивость всего на свете была бы столь очевидной, на Лауру напал вдруг такой страх, что она, обезумев, бросилась бежать, не разбирая дороги: от ужаса и отчаяния, охвативших нас, она совсем потеряла голову). Потрясенный этим воспоминанием, которое было переполнено ночным ужасом (но также и подземной славой, этой крошечной душераздирающей славой, которой достигают не живые люди, но трепещущие от смертной стужи тени), я продолжил

подъем по склону холма, на котором находилась могила Лауры. Вступив на кладбище, я сам едва не потерял голову: я страшно боялся, мне казалось, что если Лаура явится мне, я изойду смертным криком. Несмотря на кромешную тьму, я различал (они вздымались белыми расплывчатыми формами) могилы, кресты, надгробия; заметил также двух блестящих червей. Только могила Лауры, сплошь покрытая травой и цветами, выделялась, уж не знаю почему, какой-то абсолютной чернотой. Подойдя к ней вплотную, я испытал такую боль, что обхватил себя руками, я не понимал, что делаю, мне казалось, что нас уже двое и что я ее сжимаю в своих объятиях. Мои руки бегали по моему телу, а мне казалось, что прикасаюсь я к ней, ее запах вдыхаю: мной овладела страшная нежность, все было в точности так, когда мы оказывались вдвоем, когда не было больше никаких перегородок, разделяющих двух людей. И тут, при мысли, что я снова стану самим собой, таким, как прежде, что снова буду влачить свое существование под грузом тяжелых обязанностей, я взвыл что было сил и стал просить у нее прощения. Горькие слезы потекли по моему лицу, я не знал, как быть, ибо сознавал, что снова ее потеряю. Мне стало невыносимо стыдно от мысли, кем мне снова предстояло стать, к примеру, тем, кто пишет сейчас эти строки, а то и кем-то похуже. Я знал только одно (но это знание опьяняло): что опыт утраты близкого, когда он не связан с привычными предметами жизнедеятельности, ни в каком отношении не ограничен.

Испытанное мной вчера было не менее обжигающим, не менее истинным, не менее исполненным смысла для людской судьбины, чем встреча с непознаваемым, в каком угодно виде, более расплывчатым или более безличным. Пламя бытия перекидывается в ночи от человека к человеку, оно полыхает во всю силу, когда любви удастся разметать стены той темницы, в которой сидит заперти человеческая личность: но нет ничего величественнее, чем

брешь, сквозь которую два существа узнают друг друга, ускользая от той пошлости и обыденности, которые привносятся в жизнь идеей бесконечного. Кто любит замогильно (и, следовательно, тоже ускользнул от свойственной обыкновенным отношениям пошлости; Лаура же часто рвала слишком тесные связи: боль, страх, слезы, бред, оргии, горячность – вот тот хлеб насущный, который Лаура делила со мной, и хлеб этот остался во мне воспоминанием страшной и необъятной нежности; такие очертания принимала любовь, алкавшая выйти за рамки всего и вся, но сколько раз мы достигали с ней мгновений невероятного счастья, среди звездных ночей и журчащих ручьев: однажды ночью мы шли по лесу, она шла рядом со мной, не произнося ни слова, я незаметно смотрел на нее, радуясь в ней тому, что в ответ на самые непостижимые движения нашего сердца приносит нам жизнь. В крошечной тьме я смотрел, как рядом со мной шагала моя судьба; мне не найти слов, чтобы выразить, насколько точно я знал, что она и есть моя судьба: мне не найти слов и для того, чтобы выразить, насколько Лаура была прекрасна, ее несовершенная красота была подвижным образом моей пылкой и неведомой судьбы. Несказанной кажется мне и умопомрачительная прозрачность подобных ночей); так вот: кто любит замогильно, имеет, по крайней мере, право освободить в себе любовь от человеческих пределов и, не колеблясь, наделить ее невообразимым ни для чего другого смыслом.

Мне страшно хочется переписать сюда одно место из письма Лауры к Жану Гремийону, написанного после нашего возвращения из Италии в сентябре (или октябре) 1937 г:

«Мы с Жоржем поднимались на Этну. Это было ужасно. Мне бы хотелось тебе об этом рассказать, но я не могу без смятения даже вспомнить об этом, это видение стало мерилем всех моих нынешних поступков. Вот почему мне легче сжать зубы... так сжать, чтобы хрустнули челюсти».

Я переписываю эти строки, не понимая по сути, какой же они несут смысл. И не стараюсь понять, ибо это значило бы достичь почти недостижимого, что случается нечасто.

*19 сентября 1939 г.*

Этого состояния я достиг не в одиночку. Нервозность, которая не могла не вылиться в какой-нибудь катаклизм, владела мной на протяжении целого месяца...

*20 сентября.*

...снова шалют нервы: просто невмоготу. Утром полегче. Обретение самого себя: в ангельском согласии с реальностью, которая как нельзя более... Утро в этой комнате, которую я должен вскоре покинуть, где все и свершилось. Ставни открыты. Небо слегка хмурится, но облаков почти нет, липа за окном едва колыхнется. Этот дом в окружении высоких деревьев, где перед смертью Лаура обрела недолгий покой, неподалеку лес, ее могила, ворон и... пустота, все кругом проклято, все кругом исполнено таинственного мрака, но сегодня утром это солнце, приглушенное светлым туманом, и предстоящий отъезд. Прозрачная тайна света, беспорядка и смерти, вся величественность утасающей жизни, моя счастливая чувственность и моя развращенность, я ни за что не предам себя, не отрекусь от себя, не отрину в себе то, что сливается с необъятной нежностью этого расколотого мира – расколотого злобой, презренным бешенством толп, нищетой, отягощенной отвращением к удаче; я так люблю себя – за то, что во мне есть! но храню верность смерти (как влюбленная девица) (...)

Вдруг, внезапно, «как вор», вторгается присутствие Лауры, светлое, нежное, тихое, будто блеск топора в ночи, оно несет с собой

объятия, от которых веет такой глубокой и такой воздушной свежестью, как будто это дыхание самой ночи. Но мне *необходимо покинуть* это присутствие, напрячь всю свою волю: само это присутствие требует напряжения воли (...)

Мой ужас удвоился: лицо Лауры смутно напоминало лицо жесточайше трагичного мужчины: пустое и полубезумное лицо Эдипа. Это сходство усилилось во время агонии, когда она сгорала на глазах, но особенно в те мгновения, когда она гневалась, обрушивалась на меня всей своей ненавистью. Ведь я убежал, убежал от того, с чем вот так вот сталкивался: я убежал от своего отца (двадцать пять лет тому назад, во время немецкого наступления, я бросил его на произвол судьбы, доверив заботам нашей домработницы; он был слеп, разбит параличом и испытывал невыносимые боли); я убежал от Лауры (убежал морально, поддавшись страху, я часто ей перечил, но был с ней до конца, иначе и быть не могло, я оставался с ней, насколько у меня хватало сил, но по мере приближения агонии, я стал искать укрытия в каком-то болезненном оцепенении; порой напивался... меня там словно и не было (...).

Действие является естественным условием простоты. Но для действия необходим жесточайший императив, устраняющий все кажущиеся противоречия. Как я могу действовать, если нахожусь во власти подобных императивов: внезапные приступы страха и агония Лауры; ночь, наполненная криками боли, в которую на моих глазах погрузился отец (...)

*30 сентября и 1 октября.*

Среди работ, написанных мной для различных журналов, та, что называется «Сакральное» и была напечатана в «Кайе д'ар», является в моих глазах единственной, где с некоторой ясностью обнаруживается движущая мной решимость. Возможно, это текст

отстраненный: «сообщение» в нем столь же удалено, столь же неумело, что и в большей части моих сочинений. Тем не менее, доказательная часть этой статьи живо затронула кое-кого из тех, к кому я на самом деле и обращался. Думаю, что неведение или неуверенность мало что значат; больше уже невозможно ограничивать надежду: для тех людей, чья жизнь неотличима от затянувшейся бури, о которой узнаешь только по грому и молнии, ожидаемое – вещь ничуть не менее бредовая, чем само сакральное.

Если случаются какие-то существенные перемены, никогда не следует списывать их на сочинения. Если фразы и имеют какой-то смысл, на деле они лишь собирают воедино то, что искалось. А те, что кричат в своем произволе, гибнут в своем сиянии. Вот почему необходимо следующее: стереть написанное, загнав его в тень выражаемой им реальности. Никто не соблюдал этого правила с такой неукоснительностью, как я, когда работал над этой статьей.

(*Зачеркнуто*: я писал ее в прошлом году, с августа по ноябрь, договорившись с Дютии, что мы будем писать ее вместе для этого номера «Кайе д'ар», где она и появилась. Говоря об обстоятельствах, в которых это происходило, я должен привести одну существенную дет...)

В сущности, мне необходимо остановиться на одном из этих обстоятельств. В последние дни болезни Лауры я дошел до того места, где говорю, что «грааль», в поисках которого мы проживаем свою жизнь, идентичен объекту религии. После чего следует эта фраза: «Христианство *субстантивировало* сакральное, однако природа сакрального, в котором сегодня мы усматриваем обжигающее существование религии, заключается, возможно, в самой что ни есть неуловимости того, что происходит между людьми, сакральное есть этот исключительный момент причащающего единения, миг совместного конвульсивного обнаружения того, что

обыкновенно остается в тени». Я сразу же добавил на полях, чтобы сохранить, по крайней мере для самого себя, смысл последних слов: «идентично любви»<sup>1</sup>.

Я помню, что в этот момент по порьежвшимся к тому времени деревьям, стоявшим необыкновенно ровной линией метрах в ста за моим окном, пробежал удивительной красоты солнечный луч. Я попробовал писать дальше, но меня хватило лишь на пару фраз. Наступало время, когда я мог побыть с Лаурой. Подойдя к ней, я сразу понял, что ей стало много хуже. Я попытался было заговорить, она мне не отвечала, погружаясь в неодолимый бред, она произносила какие-то бессвязные слова; она меня уже не видела, не узнавала. Я понимал, что дело идет к концу, что никогда больше мне с ней не поговорить, что через несколько часов ее не будет, что мы никогда больше не скажем друг другу ни слова. Сиделка шепнула мне, что это конец: я разрыдался; она уже ничего не слышала. Мир рушился на моих глазах, отнимая у меня последние силы, я даже не смог вмешаться, когда ее мать и сестры заполонили мой дом.

Агония продолжалась четыре дня. Целых четыре дня ее не было, повинувшись непредсказуемому капризу, она обращалась то к одному, то к другому, загораясь и быстро затухая; наши слова ее больше не трогали. В краткие мгновения передышки ее речь становилась связной: она просила меня поискать в ее сумке что-то чрезвычайно важное; я показывал ей все, что там было, но никак не мог найти то, что она хотела. Наконец, я увидел и показал ей маленькую папку, на которой было написано «Сакральное». Мелькнула шальная мысль, что она все-таки поговорит со мной,

1 Эти строки я написал на полях, как всегда делаю, чтобы потом к чему-то вернуться. На сей раз этого не было. Все дело в том, что я продолжил «дневник» уже после того, как прочитал рукописи Лауры.



поговорит, несмотря на эту смерть, когда я смогу прочесть оставленные ею рукописи. Я знал, что она много писала, но мне она ничего не показывала, мне никогда даже в голову не приходило, что в ее записях я найду ответ на этот точный вопрос, что затаился во мне изголодавшимся зверем.

Мне пришлось отказаться от надежды найти то, что она хотела; время приготовилось «скосить ее голову» и оно ее скосило; я оставался лицом к лицу с тем, что неотвратимо надвигалось, угнетенный своей жизнью, но не видя ничего, кроме ее смерти. Я не скажу теперь, как пришла эта смерть, хотя необходимость высказать это гложет меня без всякой пощады.

Когда все кончилось, я очнулся и увидел перед собой ее бумаги, теперь я мог прочесть эти записи, которые нашел во время ее агонии. Чтение этих заметок, которые никогда прежде не попадались мне на глаза, обернулось одним из самых сильных потрясений в моей жизни. Но ничто так не пронзило, не рвануло мне сердца, как финальная фраза текста, в котором она говорит о Сакральном. Мне никогда не случалось высказывать перед ней эту парадоксальную идею: что сакральное заключается в *сообщении*. Я дошел до нее, выразил ее почти такими же словами за несколько минут до того, когда заметил, что началась агония. Я со всей точностью могу утверждать, что ничто из того, что мне случалось высказывать перед Лаурой, не могло предугадать такой мысли: вопрос этот заведомо был для меня настолько важен, что невозможно было знать, как он повернется. К тому же мы не слишком часто вели с ней «интеллектуальные беседы» (бывало, она мне это ставила в упрек; порой склонялась к мысли, что я ее недооцениваю, чуть ли не презираю; на деле я презирал лишь бесстыдство этих самых «интеллектуальных бесед»).

В конце текста Лауры я с большим трудом разобрал несколько нацарапанных строк: «Поэтическое произведение сакрально в том,

что оно является созиданием некоего топического события, «сообщением», ощущаемым как *нагота*. – Это самоизнасилование, обнажение, сообщение другим того, что является смыслом твоего существования, но смысл этот существования «неустойчив». Что во всем совпадает с заключительными строчками моего собственного текста. Для мысли Лауры существенна эта идея «причащающего единения».

Я прерываю этот длинный рассказ, чтобы выразить на бумаге одно неотвязное – почти как экстатический крик – видение, только что завладевшее моей мыслью: «далекий-далекий, с точки, не больше, ангел, пронзающий туманную толщу ночи, являясь при этом лишь в виде внутреннего до странности свечения – неуловимым мерцанием какого-то огонька – ангел этот высоко над головой поднимает хрустальный меч, который вдруг раскалывается в тиши» (...)

*2 октября 1939 г.*

Возможно, что этот ангел всего лишь «движение миров».

Любить ее как ангела, а не как очевидное божество, явившийся мне ее образ, этот раскалывающийся в ночной тиши кристалл, высвобождает во мне эту изнутри кричащую любовь, которая внушает мне тягу смерти.

Я знаю, что подобная тяга к смерти граничит с крайней возможностью бытия, но я не смог бы говорить о чем-то другом после того, как высказал эти две фразы, которые сквозь покрывающую гроб землю связывают жизнь Лауры с моей. Здесь этим фразам самое место.

Мы с Лаурой думали, что разделявшая нас перегородка сломана: нам на ум одновременно приходили одни и те же слова, нас одновременно посещали одни и те же желания, нас это потрясало тем сильнее, чем ужаснее были обстоятельства, в которых это происходило. Лаура даже бунтовала против того, что казалось ей

уничтожающей самоутратой. Моя память не сохранила ни одного из подобных совпадений, но ни одно из них не обладало этой характерной для фраз о «сообщении» крайностью.

Что касается смысла этих двух идентичных фраз, то мне крайне трудно сказать что-либо на этот счет. Мне следовало бы показать, куда они ведут, но для начала важно сказать, какую игру они играют (*Зачеркнуто*: Сегодня я лишь добавлю, что почти одновременная публикация текстов заставила меня сказать – в адрес тех, кто мучим той же жаждой, что Лаура и я – что..)

Когда в начале этой войны я начал писать, мне хотелось дойти как раз до этой точки, в которой я сейчас нахожусь. И не было никакой возможности дойти до нее как-то иначе. Я об этом давно знал. Теперь я делаю то, что было решено задолго до начала войны. Но я не закончил, едва нашел силы, чтобы начать снова, перед лицом того, что мне еще предстоит сказать, у меня словно «язык отрезан».

(С другой стороны, происходящее со мной сегодня столь же невыразимо, столь же чуждо любым условиям реальности, как какой-нибудь сон. Без зверской к себе строгости я ничего не вытяну из этой волшебной сказки: столь зыбкая иллюзия рассеется при малейшей заботе, при малейшем послаблении *невнимания*).

Я никогда, разве что подле Лауры, не ощущал столь доступной чистоты, столь молчаливой простоты. Но на этот раз нет ничего, кроме этого мерцания в пустоте: будто какой-то ночной мотылек, ни сном ни духом не знающий о своей феерической красоте, сел на лоб спящего человека).

3 октября 1939 г.

Я больше не могу: мне предстоит вступить в такое «царство», куда сами цари вступают сраженными молнией. Но мало того, что

мне это предстоит: о сем «царстве» я должен говорить, чуждаясь любой измены; более того: я должен найти такие слова, что достанут до самого его сердца. Из всех тех завоеваний, что отвечают смутной потребности потерять себя, мне предстоящее – из самых неприступных. В «пустыне», где я бреду, царит всецелое одиночество, которое Лаура своей смертью сделала еще более пустынным.

\*\*\*

Почти год назад, на самой границе «пустыни», передо мной мелькнул колдовской лучик солнца: с трудом пробиваясь сквозь ноябрьский туман, пронзая умирающую растительность и феерические руины, этот лучик высветил передо мной какую-то витрину, стоявшую за окном заброшенного дома. В этот миг я был на грани помутнения разума – на краю гибели всего человеческого: я только что вышел из леса, оставив могильщикам гроб с телом Лауры. Оставаясь снаружи (я добрался по широкому выступу кладки до прогнившего, заплесневевшего окна), я взглянул на эту витрину, покрытую едва ли не вековой пылью. Если бы в этом месте, где неспешно свирепствовала смерть, мне явилась картина загнивания, немощи, оскудения, я увидел бы в ней верное отражение собственного несчастья. Я бродил, а внутри меня ширилась пустыня. И теперь я ждал, затаив дыхание ждал, что передо мной откроется мир моего отчаяния – чудесный и невыносимый. Ждал и трепетал. Но то, что я увидел через это окно, к которому привело меня помутнение разума, было, наоборот, картиной жизни и самых забавных ее капризов. Передо мной, за оконным стеклом, на расстоянии вытянутой руки красовалась пестрая коллекция чучел экзотических птиц. Крутом пыль, омергвевшие ветки, развалины – нельзя было вообразить себе что-нибудь более нежное, чем эти умолкнувшие птицы, забытые здесь почившим хозяином дома (было видно, что

с той давней поры, когда смерть вошла сюда, никто ни к чему здесь не прикасался – на столе, под слоем пыли, лежали, словно кого-то дожидаясь, какие-то бумаги). Недалеко от витрины я увидел и фотографию хозяина: седовласый мужчина с необыкновенно доброжелательным и благородным выражением лица; он был одет как буржуа или, точнее, как ученый муж эпохи Второй империи.

И в этот миг, когда горькая чаша была, казалось, испита до дна, мне вдруг открылось, что Лаура меня не покинула, что ее невероятная нежность будет проглядывать и в смерти, как проглядывала она в жизни, причем даже в самых злобных ее неистовствах (о которых я не могу вспоминать без содрогания).

*4 октября 1939 г.*

Сегодня первый настоящий осенний или даже зимний день – холодный и унылый. И я сразу возвращаюсь в пустынный мир прошлой осени: оцепенение, стужа, один как перст, вдали от всех берегов, вдали от самого себя, словно точка среди океанов. Снова мной овладевает какой-то монотонный и словно бы отсутствующий экстаз, зубы, как и в прошлом году, сжимаются мертвой хваткой. Вот так и испаряется расстояние между моей жизнью и лауриной смертью.

\*\*\*

Шагая по улицам, я открываю одну истину, которая не дает мне больше покоя: связанные со смертью Лауры и оголенной осенней грустью болезненные судороги всей моей жизни являют для меня единственную возможность принятия «крестной муки».

Я писал 28 сентября: «...от своих эротических привычек я могу отказаться только при том условии, если найду новый способ принятия крестной муки. И этот способ должен быть таким же

опьяняющим, как и алкоголь». Сегодняшняя догадка не может не внушать страха (...).

*11 октября.*

Во время агонии Лауры я вышел в наш запущенный сад и среди опавшей листвы и поникших трав увидел едва ли не самый красивый в своей жизни цветок: это была только-только распустившаяся роза «цвета золотой осени». Мои мысли путались, но я все равно сорвал эту розу и отнес Лауре. Она в это время пропадала внутри себя, теряясь в неразборчивом бреде. Но когда я протянул ей цветок, она вдруг вышла из своего странного состояния, улыбнулась мне и произнесла одну из последних внятных фраз: «Она восхитительна». Затем она поднесла цветок к губам и поцеловала с какой-то безумной страстью, как если бы ей хотелось вобрать в себя все то, что от нее безвозвратно уходило. Это длилось всего лишь миг: она отбросила розу, как капризный ребенок отбрасывает надоевшую игрушку, и снова стала посторонней всему тому, что надвигалось, снова судорожно задышала.

*12 октября.*

Вчера, когда я был в кабинете своего товарища по работе, который в это время разговаривал по телефону, на меня вдруг напала страшная тревога: погружаясь незаметно в самого себя, я увидел перед собой смертное ложе Лауры (кровать, в которую я теперь каждую вечер ложусь). Эта кровать и Лаура очутились в пространстве моего сердца, точнее говоря, мое сердце и *было* распростертой на этой кровати Лаурой – в крошечной тьме моей грудной клетки – Лаура умирала, кончала умирать в тот миг, когда взяла в руки одну из роз, что были выложены перед ней на кровати,

превозмогая смертную усталость, она поднесла цветок к глазам и закричала отсутствующим и бесконечно страдающим голосом: «Роза!». (Мне кажется, что это были ее последние слова). Пока я был в этом кабинете, и еще целую часть вечера поднятая роза и крик *оставались в моем сердце*. Да, еще одно: возможно, голос Лауры был не *страдающим*, а просто-напросто *душераздирающим*. В то же время мне представилось то, что я испытал в это самое утро: «...взять цветок и смотреть на него до тех пор, пока согласие не... Это было настоящее *видение* – *внутреннее видение*, обусловленное необходимостью, испытанной изнутри и в безмолвии; это нельзя назвать свободным размышлением.

21 октября.

Вчера вечером отправил письмо, в котором порвал отношения с теми, на кого имел неосторожность рассчитывать (слишком часто теперь мелькает эта задняя мысль о моей неосторожности; *зачеркнуто*: я часто восставал против неистовых проклятий, которыми осыпала меня Лаура, с трудом их выносил, но для меня они стали чем-то необходимым, одной из возможностей жизни. Сегодня, оглядываясь на все, с чем мне пришлось столкнуться и что люблю, я готов признать, что остался бы ни с чем, если бы у меня не было этого необъяснимого терпения. Но тем, кто все-таки вывел меня из терпения, не разрушить того, что мы когда-то создали вместе...) (...).

Все, что вокруг меня существует, может пойти прахом за считанные часы: по крайней мере, я телесно перестану быть связанным с этим местом грез. Но потребность находиться здесь, где все исполнено тайных смыслов, где нельзя взглянуть на окно, дерево или дверцу шкафа, не испытав смертной тоски, вписана в меня так же, как она была вписана в судьбу Лауры. Ни я, ни она, мы ничего

(или почти ничего) не делали для того, чтобы вокруг нас сложился этот мир: он сам обнаружился, когда туман мало-помалу рассеялся, он восходил как к нашим бедам, так и к нашим грезам. В этот мир не дано вступить человеку, самозабвенно гонящемуся за одной только красотой. Здесь, напротив, необходимы безумие и аскеза, ненависть и смертный страх, любовь должна быть столь великой, что появившаяся на пороге смерть не вызовет ничего, кроме взрыва смеха. Окно, дерево, дверца шкафа суть ничто, если они не хранят в себе душераздирающих движений и разрушений (...)

*7 ноября.*

Сегодня год, как умерла Лаура.

Переписываю здесь письмо Лейриса, полученное в воскресенье. Никогда прежде он так не писал:

*Коламб-Бешар, 19 октября.*

*Дорогой Жорж!*

*Приближается момент, когда нам можно оглянуться назад и с ужасом взглянуть на то, что произошло за год...*

*Я не собираюсь рассказывать тебе о чем-то конкретном (любая конкретность была бы здесь святотатством), просто есть определенные воспоминания, власти которых я непроизвольно отдаю, когда меня берет скука, и воспоминания эти несут в себе гораздо больше оснований для надежды, чем для отчаяния.*

*Невозможно, чтобы все, что привязывает нас к некоторым людям, не было той единственной по-человечески стоящей вещью, что способна пережить любые превратности нашей жизни.*

*Я выражаюсь высокопарно – это, как ты знаешь, не в моих привычках – мне немного стыдно за такой язык, и этот стыд*



*объясняется также некоторой сдержанностью или человеческим уважением (опять эта моя мания все принизить). Я надеюсь, что ты простишь это мне и поймешь через эти нелепые слова все то, что мне хотелось тебе сказать и что подобно намернувшимся слезам или взрыву смеха...*

*Мишель*

(...)

Выхожу из синема, где смотрел «Грозовой перевал»: Хитклиф живет с призраком Кэтрин – как я хотел жить с призраком Лауры. В субботу, в Ла Вессене, мне вспомнился «Грозовой перевал». Я вспоминал о нем и в Ферлюке. Предполагаю, что эти скитания по горным пансионатам помогли мне забыть об отвращении к «комедиям». Правда, это только предположение. В конечном счете, я все больше и больше погружаюсь в неведение.

Лаура не вспоминается мне с прежней силой. Всем моим существом владеет Дениза, *живая*. Кругом хаос, а я *живой* и пьяный от угнетающей чистоты Денизы, которая так прекрасна, что я не мог об этом даже мечтать (мне кажется, что она красива красотой зверя). Не полюбить вот так Денизу, не почувствовать этой сердечной боли, навевающей смертную стужу, значило бы изменить всему: ведь невозможно, чтобы дерево перестало пускать почки, расти (...)

В декабре 1937 г. Морис Хайне по нашей просьбе отвез нас с Лаурой к тому месту, которое де Сад выбрал для своей могилы. «Прах будет рассеян поверх желудей...», впитан корнями дубов, обратится в ничто в болотистой земле лесосеки... В тот день шел снег и наша машина застряла в лесу. Свиристельствовал ветер. На обратном пути, расставшись с Морисом Хайне, мы с Лаурой сообразили поздний ужин: ожидали Иванов и Одоевцева. Как и было задумано, ужин оказался не менее свиристым, чем зимний ветер: голая Одоевцева принялась блевать.

В марте 38-го мы приехали на это же место с Мишелем Лейрисом и Зеттой. Хайне на этот раз с нами не было. В Эпероне Лаура посмотрела последние в своей жизни фильмы: шло «Безвозвратное путешествие» (Тэя Гарнетта), она его раньше не видела. Весь день она вела себя так, будто болезнь отступила, не подтачивала ее, и еще засветло мы подошли к болоту, которое де Сад назначил для своей могилы. Немцы только что заняли Вену и воздухе пахло войной. Вечером, когда мы возвращались, Лауре очень хотелось увлечь Зетту и Лейриса на излюбленный наш путь. Мы специально заказали ужин в том же заведении, где заказывали ужин для Ивановых. Но едва переступили порог дома, как Лаура ощутила первый приступ этой болезни, что в скором времени унесла ее в могилу: у нее случился сильный жар и она легла в кровать, с которой ей не суждено было подняться. После второй поездки к «могиле» де Сада она покидала дом лишь однажды, в конце августа. Я возил ее на машине в лес. Она вышла только один раз: перед поверженным молнией деревом. Мы проезжали по равнине Монтэгю, где она упивалась красотой холмов и полей. Но едва войдя в лес, Лаура увидела справа от себя двух мертвых воронов, они были повешены на ветвях невысокого дерева...

*я загадала, чтобы повсюду  
он меня сопровождал  
всегда меня опережал  
как рыцаря его герольд*

(«Ворон», из «Сочинений Лауры»)

Мы были недалеко от «дома» Я увидел воронов через пару дней, когда проходил по этому же месту. Когда я ей об этом рассказал, она вся затрепетала, а голос ее так дрожал, что мне стало страшно. Только после ее смерти я понял, что столкновение с мертвыми

птицами она сочла знаком. От Лауры осталось лишь неподвижное тело: я только что перечел ее рукописи, и первое, что мне попало, было стихотворение «Ворон».

3 июня 1940 г. Немцы только что бомбили Париж (*зачеркнуто*: мне сообщили, что одна из бомб упала на клинику на улице Буало, где Лаура пробыла два месяца перед тем, как переселиться ко мне, в дом на Сен-Жермен, где она скончалась. Я не знаю, какое из зданий клиники пострадало. Не дойдет ли очередь и до моего дома на Сен-Жермен? В одном письме к Лейрисам Лаура писала, что этому дому, который она с презрением называла «монашеской обителью», суждена гибель в какой-нибудь катастрофе. Я пишу об этом сегодня, когда все и вылилось в этот «шумный, абсурдный и неистовый хаос», который она предрекала нашему миру).

Добавлю следующее: на пороге *славы* я встретил смерть в виде украшенной подвязками и черными чулками наготы. Кто приближался к более человеческому существу, кто мог вынести более ужасную фурию: эта фурия, взяв меня за руку, провела меня по всем кругам ада моего существа.

Я только что рассказал свою жизнь: *смерть* взяла имя ЛАУРЫ.

(Из черновых записей к «Винновному», 1939-1940)

Вообразить себе невероятной красоты мертвую женщину: она не бытие, в ней нет ничего уловимого. Никого нет в спальне. Бога нет в этой спальне. Спальня пуста.

...Как *узнать* удачу, не заручившись для этой цели силой любви, *которая прячется?*

Удачу творит немыслимая любовь, которая бросается в безмолвии в голову. Она, словно молния, бьет с высоты небес и она это я! Разбитая молнией капелька, один только миг: ослепительнее самого солнца.

(«Винновный», 1944)

\*\*\*

Я принимаю сторону тех, кого люблю за вызов. Я не терплю, когда вижу, что они забывают об удаче, коей они могли быть, *если бы играли*.

Л. когда-то играла. Я играл с Л. И нет мне покоя с тех пор, как я выиграл. И мне не остается ничего другого, как играть дальше, оживить эту по-настоящему безумную удачу..

Л. играла и выиграла. Л. умерла.

Очень скоро, говорила мне Л., почва уйдет у тебя из под ног.

(«О Ницше», 1945)

\*\*\*

Очевидно, что лишь *в ночи* я могу определить то, что называю *суверенной операцией*. Я давал описания сложных элементов, пока еще неразборчивых побуждений, мои усилия остаются извне *суверенных моментов*. Эти моменты относительно банальны: достаточно будет немного рвения и небрежения (но чтобы от них отвлечь, довольно будет и капельки трусости, после чего легко скатиться к всякой чуши). Смех до слез, острое, до крика, чувственное наслаждение – самое обычное дело (но самое странное в этом рабском состоянии, в которое мы впадаем после, *как будто ничего не было*). Да и экстаз многим из нас по плечу: вообразим себе вызывающее колдовство поэзии, неудержимость безумного смеха, головокружительное ощущение *отсутствия*, но это все очень просто, вроде геометрической точки в неразличимости пространства. Но я могу вообразить и кое-что другое: ночь, в окне одиноко стоящего дома является любимое и вместе с тем страшное лицо умершей женщины; ночь сразу обращается в день, холодный трепет – в безумный смех, *как будто ничего не было*, ведь острый восторг едва ли отличим от какого-либо состояния.

(«Метод медитации, Нагота», 1946-1947)

\*\*\*

Я намечаю перед собой точку и представляю эту точку геометрическим местом всех возможных существований и единений, разлук и тоски, неутолимых желаний и смерти.

Я вступаю в эту точку и сокровенная любовь ко всему, что в ней находится, испепеляет меня, заставляя отказаться от самой жизни ради чего-то другого, кроме этой точки, ради этой точки, которая, являясь разом жизнью и смертью любимого существа, приобретает характерное сияние.

*(«Практика радости перед лицом смерти», 1939)*

# Лаура

## ИСТОРИЯ ОДНОЙ ДЕВОЧКИ

*Печальная привилегия  
или  
Сказочная жизнь*

Детские глаза пронзают ночь.

Сомнамбула в длинной белой рубашке озаряет темный угол, где, бормоча во сне, она преклоняет колена перед распятием и Девой Марией. Стены увешены благочестивыми образами, спящая самозабвенно отдается всевозможным коленопреклонениям, после чего юркает под одеяло. Предоставленная не столь реальным призракам, облеченным всей властью и надо мной, моя спальня снова погружается в тягостную неподвижность преждевременного кошмара.

Ужас, словно ветер на море, гуляет по комнате. Согбенная старуха грозит мне палкой, какой-то человек, ставший невидимкой благодаря волшебному кольцу, не отстает от меня ни на шаг. Бог, «который все видит и все знает», взирает на меня, сама суровость. От окна отделяется белая занавеска, колыхаясь во мраке, приближается и уносит меня: я мягко пролетаю сквозь оконное стекло и взмываю в небо...

В темноте появляются, мерцают мириады светящихся точек, они кружат хороводом, отдаляются от ночника и роятся надо мной. На вещи садится тончайшая радужная пыль, разноцветные капельки сливаются друг с другом. Текучие, переливающиеся всеми цветами радуги конусы, круги, прямоугольники, текучие светящиеся пирамиды, азбуки форм и цветов, солнечная призма, небеса моих заплаканных глаз; фосфены кружат хороводом... кровать мерно качается на волнах грез.

А дни, сменявшие такие вот ночи, были гнусным, запутанным детством, в котором царили страх смертного греха, Страстная пятница и первый день поста. Детством, раздавленным тяжелыми траурными покрывалами, детством, кравшим детей.

Не все еще сказано, нет. Преступные руки вцепились в колесо судьбы: многие так там и остаются, сильные новорожденные, задушенные пуповиной, а ведь... «они только одного хотели – жить».

Вслушайтесь, ночь полна детских криков – долгих душераздирающих криков, прерываемых стуком резко захлопнутого окна, отрывистых и протяжных криков, захлебывающихся от удушья и умирающих на детских губах, пронзительный зов, брошенные в вечную пустоту мужские или женские имена, злорадный смех, обрушивающийся каскадом презрения, расплывчатые жалобы, мужеподобный писк новорожденного. Все эти крики, смешиваясь на лету с осенними листьями, поднимаются над садом, словно запах росы, прелости или скошенного сена.

То был истинно парижский сад, где я нашла себе укрытие. Из-за бересклета выходит совершенно бледный мужчина, останавливается, кланяется, пожимает кому-то руку в пустоте и медленно идет дальше, снова останавливается, кланяется, пожимает несуществующую руку, и уходит, осторожно ступая по белому щебню и не заходя на газон... Вдруг появляется другой, с пылающим лицом, воспаленными губами, он заметил меня, увидел это убежище в углублении стены, скрытое ужасными зарослями фуксий. Кругом плющ, копоть, растерзанные пальцами бегонии и расчерченные мелом «классики». Сделав непристойный жест, мужчина приближается, но у меня есть множество хитрых уловок, и вот уже другой вылезает в окно, в исступлении, размахивая руками, словно мельница, на губах выступает пена: «они меня обокрали, мерзавцы», его умирят. Теперь появляется женщина. Сложив руки под подбородком, она рвется вперед всем своим телом, бесформенным, оплывшим,

обрюзглым, завладевшие ею видения навевают на нее подобие улыбки, которая тотчас застывает, поскольку наверху появляется мертвенно-бледное лицо, которое: пытается протиснуться сквозь прутья клетки, сначала напрямую, затем боком, но все напрасно, после чего из окна свешивается белая исхудавшая рука и тихонько раскачивается до самого вечера, словно белье на ветру.

Лживая, улыбчивая свора (родственники и доктора) кружит вокруг братской могилы в саду дома умалишенных, саду моего детства.

Жалкие смешные существа, их страдания, что дают о себе знать, оттого что были слишком возмутительными, страдания побежденные, бессильные, идиотские. Послушайте их: а-б-в-г-д я разучился говорить, 1-2-3-4-5 я разучился считать.

Какое вам дело до деревенского юродивого или местной сумасшедшей? Продажная совесть, перебитый хребет – и таких полным-полно на улицах, разве нет? А еще другие существа, которым уготована близкая смерть или лучшая доля, не сегодня-завтра они сгинут на базарах, в портах, в скверах, под мостами.

Живые обломки всевозможных крушений – нищета или отчаяние – потрясенные обретают друг друга на крошащихся кромках набережных. Потрясенные, увидев друг друга лицом к лицу, в своей человечности, и раз уж взгляды скрестились, происходит обмен банальностями, избитыми словами, не имеющими никакого смысла и полными значения. Лишь им одним, вернувшимся издалека, дано *так* говорить... о пустяках. И кажется, что в ответ на звук этих голосов сама земля становится тверже под ногами. Река несет мутные воды, распространяет зловонный смрад. Над мостами город, за городом – поля. А в городе и в полях – зыбучее море человеческих взглядов.

Нет ни одного, который не скрывал бы какой-нибудь тайны, какой-нибудь *истории*, то есть ответ, призыв, объяснение. Светлые,



чистой воды взгляды, в глубине которых мутнеют какие-то пятна и нити: водоросли и человеческие останки. Взгляды чудовищные, мрачные и гноящиеся, иные немые, другие мечтательные, взгляды, что умеют ненавидеть и презирать, взгляды влюбленные и доверительные, взгляды, сквозь которые проглядывает *какая-то* цель, *какая-то* воля, взгляды, что утоплены желанием в крови. Все эти взгляды я разглядела сквозь один; в настойчивом и потерянном в мертвенной бледности оголодавшего человека взгляде, который, казалось, требовал отчета у всех слабых мира сего, у всех на свете побежденных.

– Я обитала не в жизни, а в смерти. Сколько себя помню, передо мной все время вставали мертвецы: «Напрасно ты отворачиваешься, прячешься, отрекаешься... Ты в кругу семьи, и сегодня вечером будешь с нами». Мертвецы вели ласковые, любезные или сардонические речи, а порой, в подражании Христу, этому извечно униженному и оскорбленному, нездоровому палачу... они открывали мне свои объятия.

Я шла с запада на восток, из одной страны в другую, из города в город – и все время между могил. Земля уходила из-под ног – поросшая травой или вымощенная – я висела между небом и землей, потолком и полом. Мои больные глаза вывернулись к миру волокнистыми зеницами, руки, повиснув кульями, влачили безумное наследство. Я гарцевала на облаках, напоминая косматую помешанную или нищенку. Ощущая себя чуть ли не монстром, я перестала узнавать людей, которых я однако так любила. Наконец, мало-помалу окаменевая, я стала превосходной частью декорации.

Я подолгу блуждала, обойдя весь город вдоль и поперек. Я хорошо его изучила, это был не город, а гигантский спрут. Все параллельные и боковые улицы сходятся к водянистому вспученному центру. Щупальца монстра удерживают по целому ряду двухфазных домов: один с маленькими оконцами, другой с тяжелыми

портьерами. Там-то я и услышала из уст Веракса благую весть из Нотр-Дам-де-Клери, там-то я и увидела прекрасный взгляд Виолетты, налитый черными-пречерными чернилами, там, наконец, Юстус и Бетельгейзе, Веракс и Волосы Вероники, и все девы со звездными именами были поглощены мощным потоком намагниченных ворот. Мрак, рассекаемый временами невидимыми лучами, открывает им пространство по их собственному образу и подобию. Одна только раскаленная прозрачность: скелет и форма сердца. Глухо запускается механизм, и начинают мелькать серные или ацетиленовые вспышки. Автоматические тела окружаются ртутным ореолом. На глазах сиреневеют и зеленеют...

Час развлечений подходит к концу, и людей тем же сложным механизмом выбрасывает на улицу. Просветленные лица взирают на вершины, где им думается, что они родились. (Человек обрубок отправляется поразмышлять к себе в квартал).

С восходом солнца занесенный песком осьминог не оставляет и следа от своих потягиваний и конвульсий, можно взять курс на залитый солнцем пляж.

На таком вот пляже я и открыла для себя небо, огромное безоблачное небо, где блуждал бумажный змей. Мне казалось, что я его догоняю, ведь я не отрывала от него глаз и бежала и бежала, чтобы достать его наконец. Запыхавшись, я бросилась на песок: и он бежит струйкой между моих пальцев, обдавая ласковым теплом, от которого так хочется смеяться.

Непременная свита: женщины в черном уводят меня по улицам, где гуляет ледяной ветер, назад к «готической вилле», в окнах которой отражалось пурпурное солнце. Впервые в жизни я смотрела и видела.

Одним прекрасным вечером, оставив там Воспоминанья, обвалы и нагромождения мертворожденной жизни, бронзу и гипс всех цивилизаций и доверившись серовато-синеватому уголку, я

упорхнула вместе с голубями в самом сердце Сите. Грузные перелетные птицы опустились неподалеку на площади, где, по-прежнему *снедаемая демоном любопытства*, я растворилась в толпе.

Все ожидали шествия. Я видела флаги и знамена дебильных юнцов и кривоногих старцев (с тросточкой в руке); видела хоругви и мишуру пропахших потом священников (зеленые вонючие подмышки), видела засаленные наплечники и четки девушек, трепещущих чад Марии: «Отец мой, меня посещали дурные мысли». Все орали и выдыхали гниль зубов: мы наде-е-е-жда Франции. Три старухи, тряся жирными патлами, обнажали меж усов вставные челюсти с остатками прогорклой облатки.

И вот ты под флагами, какая нездоровая святость! Хочешь – разочаровано улыбайся, хочешь – залейся веселым смехом... Но нет, я остаюсь тут, изрыгая кровь своих предков, которые похожи на тебя. Когда же я избавлюсь от этого тяжелого груза? Да, не так давно святая Вероника улыбалась мне своим полотенцем, на котором проступал лик Христа, Дева Мария и ее венец мерцали в фимиаме, как и вбитые в стену толстые гвозди, и кровоподтеки, Святой Лик источал масляные слезы за красной лампадой, единственным освещением «часовни Семи Скорбей». Это был час уединения, мысленной молитвы, мне было семь, я стояла на коленях, вся дрожа. Ломило руки и ноги, я старалась выдумать себе какие-нибудь грехи, мои казались столь ничтожными, столь мало соответствовали серьезному выражению лиц, строгости текстов и молений. Я выдумывала... Священник принял меня в темной комнате, куда я в ужасе вошла, и где он исповедал меня, усадив к себе на колени. Обратного меня привезли в фиакре. Дом был далеко: «между больницей Святой Анны и тюрьмой Санте», как объясняла мать кучеру, и я еще долго дрожала внутри обитого влажным войлоком фиакра, ожидая смерти на каждом повороте каждой улицы, когда, под проливным дождем, копыта лошади скользили и нас заносило в сторону.

Мне тоже пришлось проглотить облатку, и мне было не по себе, что я не знала, как это делается, и стеснялась спросить. «Главное, чтобы она не касалась зубов», – сказала мать. Страшный спор языка и облюнявленного боженьки! Он протекал столь долго и безуспешно, что я засомневалась, а есть ли он, этот... Бог. Мелькнув, эта мысль меня не покидала, ни о чем другом я уже не думала и зарыдала. Видя мое смятение, священник и родители выразили удовлетворение моим безмерным благочестием. Я смолчала; могла ли я выдать, как отвратительно мне происходящее? Не была ли я уже во власти смертного греха? Они говорили об истовости... Тогда-то и показались мне странными, *сомнительными* блаженные улыбки и снисходительный вид взрослых. Но я все равно гордилась, что была единственным ребенком, чье первое причастие прошло, как того и желала моя мать, без того, чтобы какая-нибудь действительная веселость омрачила святость этого дня.

И в который раз святость отправилась напрямиком на чердак. Это был чулан, заполненный дорожными сундуками и старыми железьяками. Никогда не открывавшееся окно было полностью завешено плотной портьерой, едва пропускавшей свет витража. Я оставалась там часами, ища спасения от скуки взрослых и окунаясь с головой в свою собственную. Как-то раз пришлось передвинуть целую кучу всяких предметов: надо было добраться до окна и открыть его. Только из него можно было посмотреть на упавший в соседний сад воздушный шар. Метрах в двадцати виднелась застрявшая меж стен корзина и опустившийся на крыши и ветви деревьев полуспущенный оранжевый шар, перетянутый толстыми веревками. Наконец я увидела пилота, он выбирался из причудливой груды; странно, но это упавшее с неба существо показалось мне таким крошечным, что я была разочарована. То было беспримерное событие – прилив свежего воздуха на моем затхлом чердаке.

Подруг у меня не было. Моя мать всех отвергла – либо как «слишком богатых», либо как «недостаточно набожных». Этой женщине, будь она победнее, волей-неволей пришлось бы обращаться за помощью к соседям или самой оказывать им помощь, позволять своим детям играть с соседскими детьми, иметь дело с торговцами, знать уличные сплетни. Но достигнутое «положение» позволяло замкнуться в полном недоверии ко всему, что не касалось Семьи, оставаться в неведении в отношении всего, что в этой жизни могло быть радостным, активным, неуёмным, живым, творческим или просто человеческим. «Поддерживать отношения» или «принимать у себя» ввергало ее в состояние какой-то торжественной паники, последствия которой мы испытывали на себе. Положение спасал брат, его непринужденность не раз вызывала в нас кошунственные взрывы этого безумного смеха, который следовало сдерживать в салоне или в церкви.

Дом всегда имел какой-то мрачный, неизменный облик. В восторг, причем заведомый, приводила меня лишь почта из-за редких-редких писем, что писал нам из Африки, Америки или Китая один дальний родственник. И хотя на декоративном бронзовом подносе всегда были только счета, уведомления и газета «Эко де Пари», я каждый день ждала этих посланий в толстых, надписанных причудливым почерком конвертах с необычайными марками.

Несмотря на наличие прислуги, мать все время была в заботах по дому, пыль, нафталин и мастика так ее заботили, что это граничило с каким-то наваждением. И дня не проходило, чтобы новое пятно не захватывало ее внимания и не заставляло перевернуть вверх дном весь дом. Это называлось «наводить порядок» и этому не было конца. Все должны были быть наготове и принимать живейшее участие в общем переполохе. Дети и прислуга, в раздражении взирая друг на друга, металась взад-вперед, поднимались и спускались по лестнице, нигде не было ни малейшего

покою. Только на чердаке, куда никто не добирался и где по-прежнему стояла затхлая атмосфера и светились витражи.

Там я и пряталась, взгромоздившись на старый дорожный сундук с молескиновой обивкой или же присев на маленькой расстрепанной плетеной скамейке. Там я без конца рассказывала себе истории, чаще всего ту, что происходила до моего рождения, во времена, когда я обитала на небесах. Или же с увлечением разглядывала белую фигурку благостного Иисуса, белокурого Иосифа, голубые, розовые, золоченые образы, усеянные звездами, завернутые в шелк, перевязанные шелковыми ленточками. Или же мыла куклу и принималась обследовать собственное тело, что мне было строго-настрого запрещено. Эта тяга ребенка к своему телу, хотя ему прекрасно известно, что Бог все видит и даже на этом чердаке не спускает с него глаз. Тяга, любопытство и... страх. Жизнь быстро все расставила по своим местам, подвесив тебя между двумя полюсами: с одной стороны, все священное, благоговейное, все выставленное напоказ (оцепенение моей матери после причащения), с другой – грязь, стыд, все, чему нет даже названия. Но оба вместе куда более таинственные, притягательные, напряженные, чем тусклая повседневная жизнь. И мне предстояло метаться между низким и возвышенным долгие-долгие годы, из которых навсегда улетучилась истинная жизнь.

Были эти гордые работницы, которые отправляются на работу и, кое-как приведя в порядок ребятишек, говорят им второпях с суровой нежностью, особенно не выбирая слов: «Вытирай соплю и задницу, негодник». Перед такими дети не робеют, могут запросто, ничуть не стыдясь, расстегнуть штаны. Здесь не пройдут напускное добросердечие или жеманство. Скажи им «бедняжка» и получишь такую оплеуху, что на ногах не устоишь.

Были эти прачки, мне казалось, какое это счастье – вот так плескать руками в Сене: «Все говно с твоих пеленок плывет на мои

платки, сколько это будет продолжаться? С хозяйкой хлопот не оберешься». Взрывы смеха раскатываются по реке и тонут в камышах. Перед заходом солнца молоденькие прачки поднимаются, лица и подмышки дышат едким потом, к нему примешивается запах влажного дерева стирального настила и теплого сена бельевых коробов, поднимаются с извечной болью в пояснице, уже не в силах смотреть на отражение своих грудей в реке.

Были эти циничные содержательницы публичных домов, поколесившие по свету, изъездившие все от Марселя до Буэнос-Айреса, храня в своем сердце великую, пропитанную абсентом любовь.

Тяжкая и зыбкая жизнь, что не лучше и не хуже многих других, но сквозь эти лица я угадывала непосредственный смысл жизни, приобретающий особенную остроту, когда я думала о других жизнях, жизни моей матери и всех этих женщин в черном, толпившихся возле церкви со своими распрекрасными, будто просеянными сквозь сито, чувствами. Работницы, прачки, хозяйки публичных домов – они смогли бы вкусить радости, если бы она давалась им как-то иначе, не урывками, не отравленной тревогами о завтрашнем дне. А вы, вы сама сдержанность и благоразумие, вы так и норовите прищипить где-нибудь смерть, страшитесь жизни, жадете хвори. Вы сама немота, сама стыдливость, в вашей жизни нет ничего, кроме обязанностей – обязанностей «родителей по отношению к своим детям», «руководителей по отношению к подчиненным», грешников по отношению к творцу. Вы, покойные и изнеженные, угрюмые и строгие, убивающие радость и живущие процеженной добротой, которой неведома человечность.

До чего же она была простодушна и мила, Христина, дочь домработницы: она выбросилась из окна, потому что ее мать взяла немного угля в подвале. Все так и было: домоправительница целую неделю ее выслеживала, укладывала, перекладывала и пересчитывала угольные брикеты, и наконец г-жа Бёше была «поймана с поличным»

и отведена в полицейский участок. Малышка, обеспокоенная, что мама не вернулась в урочный час, пошла ее искать, и ее огорошили этими словами: «Твоя мать воровка, она будет сидеть в тюрьме». Христина прождала всю ночь в своей комнате и в шесть утра, видя, что мамы так и нет, выбросилась с восьмого этажа. Я стала расспрашивать родных о том, что случилось, но об этом не «следовало» говорить. Возьмем другую домработницу, вот и все. Я настаивала, и моя мать, горячо осуждавшая «слишком суровую» домоправительницу, доказывала мне, что нельзя «мириться с воровством у себя в доме, к тому же это смертный грех». Я пришла в ужас, еще раз заключив про себя, что *смертный* грех приводит к *смерти*.

Я познакомилась с Христиной в один воскресный день; ее матери было поручено отвести меня к мессе, и она взяла ее с собой. Белокурая, лет двенадцати, она была вся в черном, а на шее было повязано длинное белое боа, свисавшее до худеньких лодыжек. Меня поразило это меховое боа, и я стала расспрашивать домашних.

– Это вульгарно, неприлично носить столь броские вещи, и потом тебе не следует разговаривать с Христиной.

И я, подражая, как обезьянка, взрослым, которые всегда уверены в своей правоте, всегда всемогущи, стала избегать Христину, не заговаривала с ней. О случившемся я узнала некоторое время спустя, и только то, что «первой обнаружила ее молочница». Воображаю себе эту молочницу, она идет со своими бутылками и вдруг, на земле... Мне снова и снова представлялось это длинное боа в белых завитушках, словно головка младенца, и во мне вскипало что-то такое, к чему примешивалась подлинная ненависть к способным убивать людей словам. Г-жа Бёше больше к нам не приходила.

– Почему?

– Потому что нам нет дела до подобных историй.

Да, эти сильные, полные руки делают массу вещей, умеют поддерживать порядок в доме. Составить меню, держать связку



ключей, «аккуратно» раздеть детей, сложиться для вечерней молитвы, обхватить голову в притворном экстазе, дать звонкую пощечину, больно ударив костяшками, вывести великолепными круглыми буквами в тетради по катехизису: «Вывод».

Эти фатальные выводы, всегда нацеленные на то, чтобы я не забывалась, не давала волю своим чувствам, лопались, как мыльные пузыри, радужные пузыри, которые часами удерживали меня в крахмально-молочной бельевой.

Мне очень нравилась молоденькая горничная. Как-то раз она поделилась со мной своими надеждами: она думала выйти замуж и стать матерью:

– Когда у меня родится ребенок, я буду его одевать во все белое.

– Ты не сможешь, ведь ты бедная.

Лицо ее вспыхнуло.

– Я не бедная, я работаю, а мой жених служит в метро.

Для меня слово *работа* ничего не меняло, даже наоборот, я продолжала убеждать девушку, что ее ребенок не сможет быть хорошо одетым. Она принялась меня отчитывать, говоря, что от работы люди не обязательно дурнеют, что те, кто работает, у кого есть какое-то ремесло, не ровня уличным попрошайкам, и потом «служащий – это не то же самое, что рабочий, а вы, вы очень злая девочка». Ее гнев привел меня в отчаяние, я стала размышлять над всем этим, следуя той логике, которую предполагало мое воспитание. Во-первых, служащие метро принадлежали к той категории людей, к которым мать обращалась определенным тоном, к тем, кому не протягивают руки и не говорят «Здравствуйте, мсье», говорят просто «Здравствуйте», а потом выдерживается пауза; во-вторых, горничная, она ведь не такая, как моя мама... и тут начинала выстраиваться целая иерархия, слишком сложная для моего понимания. Нищие, рабочие, служащие – что это все значит? Генриетта попыталась объяснить мне, исходя из степени неопрятности,

предполагавшейся различными социальными положениями. Мне стало намного понятнее, поскольку мы жили рядом с заводом, и я часто разгоняла свою скуку тем, что, усевшись на подоконнике, смотрела на молодого рабочего, резавшего медь на дисковой пиле. Мы улыбались и кивали друг другу. Как-то раз он порезал себе палец: я всем рассказала о случившемся. Мне запретили сидеть на окне, я слишком много смотрела, это зрелище не для меня. Генриетта объяснила мне, что юноша был как раз рабочим. Я не хотела ей верить: «Как же он мог быть рабочим, если он мне так нравился?»

Вот, стало быть, к чему приводил суровый катехизис моей матери – обязанности вышестоящих по отношению к подчиненным – и напускное добросердечие, убивающее в корне все ростки обыкновенной человеческой симпатии, самопроизвольной и безграничной. Ребенку отвратительны «обязанности», он ни перед кем не хочет ходить по струнке, он начинает делать все поперек или же искусно подражает взрослым, напуская на себя презрительный вид. В восемь лет во мне не осталось ничего человеческого.

А еще была загородная жизнь.

Я научилась узнавать цветы: те, что любят тень и те, что любят воду, декоративные и дикие, кувшинки и разные виды тростника. Я узнала, что бывают вечерние и ночные птицы, мои сны заполняли летучие мыши, филины, совы, неясны, выпавшие из гнезда и утонувшие в ведре. Плакучая ива обнимала меня гладкими листьями, укрытие встречало влажной прохладой меня и слепого котенка, я прятала его под платьем, и он прижимался к моей груди. Я чуть было не исчезала, почти растворялась меж стеной и плющом. Превращалась в паука, сенокосца, сороконожку, ежа, во все что угодно, даже в божью коровку.

Я открыла для себя поля пшеницы, кукурузы, сиреневого клевера, поля паровые, поросшие маком и васильками, поля,

обсаженные ивами и тополями. За огородом на солнце сияла равнина, наполненная стрекотом цикад, жужжанием шмелей и жирных навозных мух. Я выходила в полдень, прикрыв чем-нибудь голову, жесткий батистовый воротничок стягивал шею, скошенная трава покалывала босые ноги. Ощущая горячими губами какой-то новый вкус, вдыхая приятный запах лаванды и загоревшего тела, я выходила, чтобы познать смятение и восторг.

А над всем этим стоял отец, светлыми, счастливыми и такими голубыми глазами он показывал мне природу. Это его глазами я увидела стрекоз, зимородков и корольков, подёнок и светлячков, диких уток, куликов и разных рыб. Стала узнавать деревья и времена года, мох и смолу, реку, лес, огонь.

---

Бусинки, волшебные, переливающиеся разными цветами шкатулки, детские пальцы судорожно цепляются в крышку, стекларус, бисер, коралловое или слоновой кости ожерелье – сокровища маленьких девочек. Бусинки белые, черные (где это было?) прожжавшие ангелочки, размытые слова... Венки из полевых цветов, они на головах героев; оранжевые цветы, цветущие веточки яблони, кладбище: погребальный хлам.

И здесь сильные и полные руки делают массу вещей. В ритуал дома они привносят ритуал смерти, обставляя его фотографиями, знаменами, флагами. Сладострастно кроют траурную повязку из добротного крепа и запирают дверь на два оборота: траур будет полным, абсолютным, вечным. «Сударыня, Вы испили чашу до дна». И безутешные, трогательные руки отвечают на бумаге с широкой черной каймой: «Да будет благословен Господь и Отечество». Отныне мы живем рентой и высокими чувствами, проникаясь застоялой, зловонной скорбью.

...Один из них вернулся, чтобы испустить последний вздох – *в моей комнате*. Сестра пожелала, чтобы я пошла проститься. Я рыдалась, как все; мне было стыдно, что из-за страха я заливалась слезами у всех на глазах, а ведь обычно могла плакать только в темноте. Я поднималась по лестнице, которая вела меня к нему, но всей тяжестью тела меня влекло назад, у меня подкашивались ноги, не сгибались колени: все мое существо было против того, чтобы смотреть на покойника, но вид его странным образом меня успокоил.

Сознавала ли я, до чего довели меня все эти страдания? Я перестала что-либо понимать. В траурной процессии, в самый торжественный момент, мне вдруг думалось, как странно пахнет на солнце мокрая креповая повязка, или же страшно боялась прыснуть со смеху, ненароком улыбнуться, не в силах себя сдержатъ; изо всех сил сжимала зубы и, если подходил кто-нибудь из друзей отца, наворачившиеся на глаза слезинки давали мне облегчение, а затем все начиналось снова: так и есть, я сейчас рассмеюсь, на помощь! Тогда я старалась стать похожей на мертвецов, но их имена складывались у меня в голове в забавную песенку, оканчивавшуюся такими словами:

*Они мертвы, мертвы, мертвы*

*Андре и Реми*

*Они мертвы, мертвы, мертвы*

*Папа, Андре и Реми*

*Они мертвы, мертвы, мертвы*

*Папа, Андре, Люсьен и Реми*

Как-то раз, когда я изо всех сил злилась на себя, что не выдерживаю уровень скорби, выказываемой взрослыми, случилось нечто ужасное. Когда гроб снимали с катафалка, чтобы нести его к могиле, из него вдруг хлынула жидкость, да таким сильным потоком, что казалось, будто ему не будет конца, зловонные воды заливали носильщиков, те старались отстраниться, не нарушив при этом

церемонии. Наконец, один из них, выйдя из себя, грязно выругался, все присутствующие посмотрели друг на друга и в ужасе отступили назад. К голове прилила свинцовая тяжесть. Казалось, что могила вот-вот разверзнется, и всех нас поглотит горячая земля, что нам здесь уже не удержаться, не устоять, прижавшись в страхе к другим могилам, на этом краешке земли, отведенном для живых, на этих узеньких дорожках из белого гравия, где стоишь буквально на одной ноге, где тебе не по себе, где холодно и гадко. Мне даже не хотелось, чтобы все это поскорее кончилось. Я только чувствовала тяжесть в голове, свинцовую тяжесть...

Утопнет ли мой детский мозг в этом нескончаемом потоке катастроф, в котором отныне мать черпала свою жизнь?

Трагические известия, выражение соболезнований, поездки на кладбище, години, наплыв друзей семьи, статьи в газетах, траурные вуали – хлеб благословенный для моря набожных праздных старых дев, являвшихся к нам вдохнуть аромата скорби, напиться под сенью нашей семьи героизмом и поведать нам о других драмах, других трагедиях, ни одна из которых, похоже, не могла сравниться по своему благородству с тем, что произошло у нас. А потом, словно выскочки, пробивающие себе путь среди знати, они разносили по домам наши новые заслуги, наши новые горести. В один из таких, а может, куда хуже других дней, я решила, что пойду в школу. Что собственно изменилось? Ведь столько времени прошло, а мы все плачем и плачем. Почему нельзя выйти из дома? Но меня тут же призвали к порядку, пристыдили за мой поступок, за «бессердечие». И я осталась здесь, подле матери, а ее рыдания усиливались от визита к визиту. Сама того не желая, я замечала, что она не смахивает слезы, не вытирает нос, и выглядит на редкость неприглядно. Я подумала, что она делает это, чтобы «лицо было залито слезами», как это пишут в книгах, и опять на себя злилась. Одна из моих теток легкими движениями прикладывала платочек

то к носу, то к глазам, стараясь не испортить макияж – это тоже было для меня странно. Из своего угла я наблюдала за спектаклем безутешного горя. Время от времени разговор заходил о детях, мать подзывала меня к себе, казалось, что драма вот-вот выльется в комедию: дамы строили участливые мины, во всем чувствовалось что-то чрезмерное, отчего мне было не по себе. Я стыдилась своих сухих глаз, испытывала страшные угрызения совести оттого, что недостаточно страдаю, ведь в минуты всеобщего горя мне случилось следить глазами за тем, как летит муха, как она ползет по стеклу, я веселилась, когда она потирала лапки или крылышки, а еще у меня не пропадал аппетит и желание поразвлечься. Ребенок – это сама жизнь, ее движение, он весь во внезапных переменах и обновлениях... а я только и знала, что поминальную тьму.

Но был один лучик солнца. Белокурое дитя, двухлетняя девочка, к которой я привязалась, как ни к кому на свете. Вплетала ей в волосы цветочки. Когда она улыбалась, я приходила в восторг. В один солнечный день она не вышла в сад. Мне хотелось ее увидеть: «Она заболела». Ночью до меня доносились пронзительные крики. Кто-то из взрослых сказал: «Плохо дело, гной пошел через уши и глаза». Случайно подслушанные слова запрыгали у меня в голове. Мне не дали войти, но мне все-таки удалось увидеть маленькую покойницу, она была вся в белом и покрыта розами. В который раз через дом пронесли гроб. И мы отправились в церковь. Я держала одну из лент, которые свисали по углам ящика черного резного дерева, который несли на руках мужчины. Во время «поминального семейного обеда», я оставалась в церкви побыть у гроба, дожидаясь, когда настанет час идти на кладбище. Горе и ужас заполнили все мое существо, били через край. Мне чудилось, что из-под груды роз идет какой-то запах. Неужто в этом лучике света полетела на небо душа маленькой покойницы, разбивая витражи часовни? Нет, я была рядом, на скамеечке для молитвы...

Маленький ящик спустили в могилу. Тогда, только тогда я постигла смерть... эту смерть и все остальные.

Мало-помалу меня охватывало оцепенение этих долгих дней. Теперь я тоже была «в опасности».

– Я умру?

И ласковая сестра, склоняясь, отвечает:

– Нет, мы больше за тебя не боимся.

Значит, они боялись? Так я и думала. Когда болезнь обострялась, я просто ждала, ибо шансы смерти и жизни были действительно равны. Как-то мне под подушку сунули медальон из Лурда. Я вскопила и швырнула его в лицо сестре, заявив, что он мне не нужен. Пришел священник с причастием, я умоляла, чтобы меня оставили в покое, но нет, через это нужно было пройти, все этого хотели, нужно было стерпеть все эти осложнения, многозначительные взгляды, белье, все эти вещи. Я пыталась молиться, но книга падала из рук на одеяло, я словно бы «отсутствовала», хотя и оставалась верующей. В эти удушающие ночи я разглядывала фотографии мертвых. Наконец, мне стало лучше. Каждый день санитар-калека выносил меня на солнце, он лишился обеих кистей и служил сторожем. Он подсовывал руки под мое болезненное тело, перекачивал меня на кульнях и нес, слегка прижимая к себе. Я ненавидела этого человека, ненавидела эту минуту и предпочитала оставаться в кровати. Тогда меня стали переносить на носилках. Я тоже стала «жертвой войны».

Сильные руки распухли. Целый год они отжимали обжигающие компрессы, наполняли льдом мешочки, разжигали огонь. Покрывшись трещинами, из которых сочилась кровь, они отказались ради меня от обручального кольца.

Мне сообщили о смерти моего крестника. Это был парень с севера, альпийский стрелок, он стал моим военным крестником

через посредничество одной монашки. В начале войны он послал мне фотографии походных церквей с убранными лентами фигурками Жанны д'Арк, колечки, осколки снарядов. Я отвечала на бумаге с национальной символикой (детский формат). Как-то он приехал в отпуск, я ожидала чего-то радостного, какого-то развлечения, но вышел ужасный конфуз.

Кругом говорили: «Мы думали, вы расскажите что-нибудь занимательное вашей маленькой крестной» – а он сидел и молчал. Тогда мне подсказали, что нужно самой о чем-нибудь его спросить, я выпалила: «Ну и каково в атаке?». Подали десерт, но крестник отказался от торта с целым каскадом крема и конфитюра, меня это потрясло; все наперебой советовали ему отведать торта, а он засунул указательный палец в рот: у него болели зубы и сахар никак не шел ему на пользу. Со словами «Ну как же так!» и не взирая на его решительный отказ, мы положили ему кусочек: он проглотил ложку крема и отставил тарелку. Лед так и не был разбит, никаких историй о сражениях мы не дождались. Мать досадовала, ибо повторилась история с сослуживцем моего брата, которого она принимала у себя: оставив его на минутку в гостиной, она, вернувшись, застала его рыдающим в подушки. По ее словам, он при этом приговаривал:

– Это ужасно, ужасно.

– Мужайтесь! – отвечала моя мать; рассказывая нам все это, она добавила: «Настоящий солдат не плачет». Через месяц его убили.

Смерть крестника не взволновала меня: меня вообще перестало что-либо волновать, я разучилась писать, ходить и предпочитала не разговаривать. Мне было тринадцать, с виду – кожа и кости. Я отупела, покорно следовала увещаниям матери, я стала для нее новым культом, героиней, ведь благодаря ее заботам я оправилась от неизлечимой болезни: «Разве я не подарила тебе жизнь во второй раз?».



Вскоре, посредством раскрепощающей *ave maria* в мою жизнь проникло святотатство, оно пленило меня. «Мое вам почтение! Мария, черт тебя побери, Господи».

Нас никто не навещал, заходил лишь «господин аббат» – единственный настоящий большой друг семьи. Он имел обыкновение затаскивать мою сестру в какой-нибудь укромный уголок, тискать ей грудь, приговаривая «будь спокойна», и щупать зад, заводя юбку между ягодиц, а затем одергивая. Я находила это странным и неприятным. Сестра же не противилась, явно не испытывая ни удовольствия, ни отвращения. Она называла этого священника не иначе, как «Милый господин аббат». Она была чистым, непорочным созданием. Однажды я пошла к «господину аббату» и застала у него с полдюжины девушек, которые сидели кружком на полу и чинили сутаны, чулки и кальсоны. «Поскольку ты не умеешь шить, ты будешь распарывать» – и я получила свою часть пирога. То была великая честь для всех этих девушек, околдованных этим несостоявшимся Распутиным.

Он приезжал за город служить годовые панихиды. По утрам заходил к нам в спальню, читал молитву, стоя на коленях у кровати моей сестры, и просовывал руку под одеяло. Однажды застал ее полунагой. Меня это поразило. Я мучила себя вопросами об аббате, испытывала нестерпимое стеснение, отвращение, которым ни с кем не осмеливалась поделиться. Что сказать? Какими словами? В это время мне не давали покоя сексуальные проблемы, которые не мог разрешить ни один словарь, я даже не знала «откуда берутся дети», но я никак не отождествляла свое беспокойство с манипуляциями священника. Это он, посадив меня однажды к себе на колени, взял за труд объяснить мне в медицинских терминах, что такое бракосочетание, затем обвинил моего брата в том, что тот водится с женщинами, похвалил мой «ум», что мне польстило, и обвинил мою мать в том, что она делает меня несчастной, что было правдой и благодаря чему он завлек меня на свои занятия.

Выходя из его дома, я столкнулась с одной парой: молодой человек с девушкой шли, взявшись под руки, веселые, смеющиеся; зрелище было для меня ужасным шоком: «никогда я не буду такой, как они». Я шла по улице, сторбившись, втянув голову в плечи: я бы все отдала, чтобы мне ничего не объясняли, чтобы этого священника с его грязными манипуляциями, его отвратительным запахом никогда не существовало. Я по-прежнему молчала, но постепенно все предстало для меня в ином свете: я сознавалась ему в дурных мыслях, не осмеливаясь сказать, что он сам их вызывал своим поведением с моей сестрой, особенно, когда она оставалась в его комнате до двух часов ночи и возвращалась в распахнутом пеньюаре в нашу детскую, где я все это время дрожала от страха. Однажды, после катехизиса, «господин аббат» спрятался за дверь, схватил меня за руку и сказал: «Не надо, чтобы нас увидели», затем приложил свои губы к моим и быстро убежал. Я с отвращением вытерла рот. Он принял меня в своей комнате, не зажигая лампы, я видела только зловещий отблеск горящего в камине угля. Он посадил меня на колени, задрал мне юбки и стал водить рукой по бедрам под предлогом «избавления от этих крошечных прыщиков, что высыпают на коже». Затем, сказав: «твоей сестре это нравится», раздвинул мне ноги и коснулся промежности, я заерзала, и он убрал руку, тяжело задышав и покрывшись потом. Еще какое-то время он тискал и крепко прижимал меня к себе; после чего успокоился. Я выскочила от него как угорелая, не могла дышать. С тех пор я следила за этим человеком, изучала его повадки, проникаясь чувством глубокого омерзения, даже перестала подглядывать, когда он целовал мою сестру.

Я билась, словно птица в силках.

Кому открыться? Как об этом сказать?

Брат не внушал мне доверия, он казался жуиром и легкомысленным человеком. Ничего не принимая всерьез, он уклонялся от власти семьи посредством веселого и поверхностного цинизма.

Он пропадал день и ночь напролет, затем возвращался, не желая замечать того трагического настроения, которое из-за него вменяла нам в обязанность мать. За столом я рассматривала его распухшие губы и странное выражение лица. Я испытывала к нему странное чувство – нечто среднее между влечением и отвращением. Он читал Анатоля Франса, Франс был его Богом. Господин аббат часто приходил к нам отобедать. Он отличался омерзительным чревугодием, и имел обыкновение быстрым и нервным движением пальцев подбирать со скатерти все крошечки. Ох, уж эти обеды! Молчание, прерываемое лишь предобеденной молитвой или какой-нибудь оплошностью горничной при перемене блюд; как-то раз на всю столовую раздался резкий металлический щелчок: в моем крепко сжатом кулачке сломалось кольцо для салфетки. Сестра язвительно заметила, что это «мило» и весьма показательно. На слова: «Это же старое серебро, оно все истончилось», она воскликнула: «Но все-таки металл, вот ведь как сжимает кулак!»

Кому открыться? Старшая сестра была занята лишь собой, безотчетной любовью к аббату, ссорами с матерью. Другая сестра шла у нее на поводу, и все обращались со мной как с ребенком. Мое слабое здоровье исключало всякую возможность дружбы: к великому удовольствию матери из дома я не выходила. Ей было неизвестно, что я жила в какой-то внутренней грезе, известной только мне одной! Тогда же я стала страшно бояться наступления ночи, ожидала ее, охваченная мрачным и возраставшим день ото дня ужасом. Я знала, что буду часами бороться, сопротивляясь искушению, а потом безудержно отдамся в его власть, предамся дебошу воображения.

Один раз летом брату взбрело в голову сходить со мной к своим друзьям. «Невозможная кампания, – слышали мы дома, – там женщины стараются понравиться, что само по себе преступно, а девушки произносят это жуткое слово – «флирт». Были возражения, но брат настоял: я собиралась на эту встречу со «светом», как

будто готовясь к необычайной экспедиции. И вот я на месте, храбро молчание, стараюсь быть «выше», а сама не в состоянии сказать «здравствуйте», неумело пытаюсь подражать другим, таращу глаза: мне кажется, что все эти люди ломают комедию, играют с жизнью. Я улавливала несоответствия в словах: иные, весьма экспрессивные, произносились со смехом, меня это коробило; другие казались мне неуместными, слишком многозначительными для такой обстановки. Брат был в ужасе от моего поведения, я чувствовала, что он был разочарован в своем искреннем желании «немножечко меня развлечь». Когда мы возвращались поздно вечером, трясаясь по ухабистой дороге, он был свеж и бодр, отыграв очередную партию своего светского спорта, я же была мрачнее тучи: я ехала с нелепого спектакля, в котором для меня не было никакой роли, мне не терпелось вернуться к своим книгам.

Мы подъехали к дому перед самой грозой: по террасе гулял ветер, плетеные кресла двигались сами по себе, по лестнице скатывался легкий стульчик, со всех сторон хлопали двери и оконные ставни. Мы стали кричать. Никого?

Мне показалось, что из-за столба в сад пристально вглядывается наша соседка. Я бросилась к ней с вопросом: «Где наша мать?» Она ответила: «Я точно не знаю, но ваша сестра побежала к реке». Жак быстро отошел мягким пружинистым шагом (он все время как будто на теннисном корте, остальные ходят по дому, будто это церковь). Тут подошла мать, а затем и Жак со словами: «Я влепил ей как следует». За кустами промелькнула тень: Катрин поднималась к себе, окинув нас взглядом, полным ненависти.

Мать, как обычно, читала нотации, случилась сцена. Что же, собственно, произошло? Она просто разговаривала с Катрин, а та вдруг, заткнув пальцами уши, принялась биться лбом о стенку, затем побежала топиться. Мать догнала ее у прачечного помоста, куда, к счастью, уже подоспел Жак.

«Ну чем я провинилась, что у меня такие дети?.. Нет, такая жизнь не для меня...» – Мать расхаживала из комнаты в комнату с потерянными видом, сжимая ладонями виски; ее волосы, всегда гладко причесанные, жирные и уложенные на прямой пробор, теперь были всклокочены от ветра и негодования. Брат постоял и, сжав губы, пошел запирать Катрин на ключ. Он решил следить за окном ее комнаты, которое замотали железной проволокой. Оставшись с Жаком наедине, я уже не смогла сдержать рыдания: «и это называется жизнью...» – «Да нет же», – сказал он, сделав упор на слове «нет». Его злило, что и он был захвачен этой атмосферой драмы: «Отстань, тебя еще не хватало». Брат проголодался, мы сели за стол. Я не знала, о чем они «просто разговаривали», но всех ненавидела – мать, брата, сестер, мне было ненавистно постоянно чувствовать себя сообщницей одного против другого и ни у кого из них не находить ответа для себя самой. В тот вечер я всем своим существом была на стороне сестры, мне хотелось взломать дверь ее комнаты: с ней, по крайней мере, мы могли броситься друг другу в объятия и поплакать вместе без всяких слов. Эти совместные рыдания всегда заканчивались самым естественным образом – воспоминаниями об отце. Мы просто твердили его имя, будто он все еще был с нами, это был вызов матери, которая всем своим поведением, даже тоном голоса предавала его смерти вторично.

Мне случалось жалеть мать, когда ей досаждал брат, тогда я говорила, что он высокомерен; но когда она тайком забирала мои книги, я принимала сторону брата и испытывала ужасное облегчение, если он заставлял ее страдать. Я защищала Катрин от Жака, ибо она, как и я, остро ощущала все зло нашего дома и никогда не смеялась, но я была за него, за его веселье и смех, когда Катрин представляла в моих глазах тень священника. Я любила свою сестру и восхищалась ею из-за этого духа противоречия, который проявлялся в ней на каждом шагу. Так, во время воздушной тревоги,

когда все сидели в подвале, она захотела подняться на крышу, посмотреть на дирижабль, из-за чего вышла маленькая сцена, которая благополучно разрешилась, несмотря на «серьезность обстоятельств». И она поднялась, я была на пять лет младше, я разрывалась между материнской осторожностью и возбужденным состоянием сестры, но все же пошла за ней следом, не желая признаться, что узкая железная лестница, круто идущая вверх по спирали, как на Эйфелевой башне, сама по себе вызывала у меня головокружение. Мы забрались на крышу, мы были выше «всего Парижа», над нашими головами скрещивались лучи прожекторов. Я любила Катрин, любила за то, что всякий день, по всякому поводу, она была против матери. Но я чувствовала себя страшно далекой ото всех, я еще могла разобраться в том, что хотел каждый из них, но не умела выразить собственную реальность никому на свете.

В скором времени я утратила веру, отказывалась ходить к мессе и причащаться на страстной неделе. Мой брат, видя, что я являюсь предметом всеобщего осуждения, сказал мне как-то раз: «Вот увидишь, мы с тобой еще повеселимся». Я сдержалась, желая «быть любезной» и не показывать виду, что его слова и сам тон мне неприятны. «Но чего же ты хочешь?».

Как-то брат спросил: «А что ты думаешь о господине аббате?» Я все выложила ему, как на духу: наконец-то слова были найдены, брат помог мне, я сбросила с плеч тысячекилограммовый груз. Пришлось поговорить и с матерью, она сидела за письменным столом над бухгалтерскими книгами, перед ней были фотографии отца.

«И ты смеешь обвинять господина аббата... Понятно, ты заодно с Жаком, ты не ходишь в церковь, а он распутничает, вы стоворились оклеветать его». Такой сцены я в жизни не видела. Но на этот раз я уж отвечу, все скажу, и действительно все сказала, ничего не упустила. Мать была сражена, ее лицо покрылось мертвенной бледностью, но мне уже было все равно, и поскольку она

продолжала обвинять меня в «низменных чувствах», повторяя, что священники – святые люди, я не испытывала ни малейшей жалости. Наконец, она стала умолять, чтобы мы сменили тон разговора: «Надо же, я столько для тебя сделала и как ты со мной разговариваешь, у тебя просто каменное сердце». Прислонившись к комоду, я ответила: «Нет, не каменное, мраморное, мрамор холоднее». Атмосфера накалилась: мать отстаивала свои права на мою нежность, ведь она «дала мне жизнь и столько за мной ухаживала». У меня вырвался какой-то странный смешок, и я тут же возразила, что ей не дожидаться от меня благодарности, она могла бы дать мне умереть, «уж лучше бы мне вовсе не родиться». Она откинулась на спинку кресла, закричала, что я сама не знаю, что говорю, совсем потеряла голову. Я вышла, без единой слезинки, без тени сострадания. Стоило мне заговорить, и все было сказано: последнее проклятье опустошило меня, освободило тело от мускулов, крови, костей. Я испытала странное облегчение, отрывавшее меня от земли, бесцветную радость, лишенную малейшего отзвука.

Право же! Ей хотелось, чтобы вокруг меня каркало воронье, ухали совы, шелестели летучие мыши, слышалось лживое шушуканье и все гадко шевелилось? Ладно! Зато все сразу стало ясным и прозрачным, как этот летний полдень. Я вышла в сад; над берегом порхали белые бабочки, тучи мошек ринулись мне в лицо; удивляясь, что я обращаю внимание на столь простые вещи, я долго сидела у самой воды, и здесь ко мне пришла уверенность, что жизнь покорится моей мечте, что я не пропаду: буду страдать, но жить.

Начиная с этого дня, который казался таким спокойным, безмятежным, крик моего существа хлынул на бумагу. Эти строки воплощают мою бездеятельность: «Смогу ли я когда-нибудь оставить отметину своей воли *на реальной жизни!* Стоит мне оказаться с кем-нибудь, и я сразу перестаю быть собой, что же делать? Неужели я навсегда обречена терпеть все вокруг, не имея сил это *изменить?*».

Я вернулась к учебе, но это был своего рода рок, я не выносила учителей и учениц. Меня вдруг, ни с того ни с сего, начинали душить слезы – в классе, на перемене. Одноклассницы казались мне глупыми. Они в ужасе слушали, как я декламирую проклятия Камилла. Я упражнялась в «выразительном чтении», затем находила это слащавым и смешным. Ходила в гимнастический зал, где с большим трудом взобравшись на какой-нибудь снаряд, воображала себя сильной здоровой атлеткой. Я все время перевоплощалась: воображала себя каким-нибудь героем Монтерлана или Д'Аннунцио. Я думала «приобрести независимость благодаря диплому», бралась за ум, но не могла ни на чем сконцентрироваться, что-либо довести до конца и при этом мне взбрело в голову пойти куда-нибудь, хотя следовало заниматься. Я теряла голову от каждой новой подруги, после чего мной овладевали разные фобии. Однажды, ощущая себя преступницей, я вошла в шикарный магазин, купила пудру и духи.

Только одно не менялось, оставалось прочным и бесповоротным: мое безбожие. Мать настояла, чтобы я пошла к другому священнику. Я заявила, что не отказываюсь от дискуссии, хотя и признавала свою слабость перед лицом несомненно весьма образованного человека. Мне невольно думалось, что «это, наверное, интересно», но в то же время я робела. Как войти, поздороваться, начать объяснения? У меня была шляпка из черной лакированной соломки весьма монашеского вида, и перед самой встречей я решила пришить к ней умопомрачительное зеленое перо. Мне казалось, что если меня парализует страх, то стоит мне вспомнить об этом в высшей степени нелепом украшении, и ко мне вернется самообладание, я смогу собраться с мыслями. Я вошла в холодную и сырую приемную, полуподвал, вдоль белой стены стояли стулья. Вошел кюре, он выглядел не очень-то уверенно, я же была полна решимости. У меня было что сказать, но он и рта мне не дал раскрыть:



«Дитя мое, Господу было угодно, чтобы среди апостолов оказался Иуда, так вот, может статься, что и среди его служителей есть предатели, будьте же милосердны»; последовала тирада против «господина аббата», все это напоминало базарную склоку, если не борьбу за влияние над моей матерью. Я прервала его. Так называемое «предательство» не играло никакой роли в моем отдалении от церкви, я была в состоянии судить об этих вещах *свыше* и просто хотела жить согласно своей совести, поскольку не верю больше в Бога.

Он не дал мне продолжить: «Как? Но, дитя мое, вы все равно вернетесь к Богу, вот увидите, я в этом уверен, милая моя, доверие нельзя навязать... разумеется... но вы ведь ко мне еще придете, дитя мое, я уверен, не так ли?»

– «Не думаю». Я встала и, уже не скрывая иронии, добавила: «До свидания, господин кюре».

Был погожий весенний денек. Купаясь в теплом апрельском солнце, я вдруг застыла перед своим отражением в зеркальной витрине: мешковатое грязно-серое пальто, неподтянутые черные нитяные чулки, перо набекрень. Я залилась смехом посреди пустынной улицы Вожирар, купила нарциссов и вернулась домой, где первым делом отпорола перо. Меня порадовала встреча с братом, мне было весело с ним. Кюре оказался столь жалким, что я не отказала себе в удовольствии посмеяться над ним. Вообще говоря, это было не в моем характере, поскольку до сего дня мне было свойственно «глубокое уважение перед всеми искренними убеждениями». Уважение, которое никто из домашних мне не оказывал.

В глубине души я была разочарована. И *это* наши «духовники», «водители совести»! Все они стоят друг друга: пугливые глазки, худосочные ручонки. Я записала в тетради: «Религия? Удобная ширма, чтобы отгородиться от жизни, смерти, страдания. Все предопределено – как рента, страховка. Отныне я буду жить согласно *своей* совести, да – я буду искать... читать... во всяком случае, чтобы

заметить, что вокруг одно сплошное лицемерие, большего ума и не нужно. Определенно я ненавижу их *всех*. Я чувствую себя чудовищно и восхитительно одинокой».

Мне было семнадцать лет<sup>1</sup>.

Я уходила с головой в музыку, затем от нее отрекалась, записав в своей тетради: «наркотик, ничего больше»; я отлично со знавала, что неделями переходя от Баха к Дебюсси, от Шумана к Равелю, от Рамо к Мануэлю де Фалье, от Моцарта к Стравинскому, я лишь меняю наркотик, в моей жизни не было ничего *настоящего*. То же самое было и с чтением. «Настанет ли время *реальной жизни?*» Моему образу необходима реальность, но каков он, мой образ? Меня терзают противоречия, а надо бы, чтобы жизнь «нарасталала», как fuga Баха: нужен центральный мотив, который усиливается, постоянно обогащается, с чем-то пересекается, что-то вбирает в себя, что-то отбрасывает, меняется и остается неизменным. В Бахе я черпала свою «мораль», в Стравинском обретала свою горячность. В живописи я любила примитивистов и Таможенника Руссо, Утрилло, некоторые работы Пикассо. Но любить живопись не значило для меня смотреть на какую-нибудь картину, а потом перейти к другой, живопись была истинным источником моей жизни, но и здесь мне безумно хотелось дать волю этой презрительной иронии ко всему, от чего я была без ума, и что мой ум питало: «Наркотик, ничего больше».

В остальном существование населяли ничтожества. К матери приходили «выжившие». Один, «любитель искусства», плакал по Реймсу, уверяя, однако, что сам он стал бы бомбить Флоренцию, если бы итальянцы были фрицами и что война все же была «самой

1 [Начиная с этого места выверенная машинописная копия, легшая в основу этого текста, уже больше не носит того завершенного характера, которым отличалось написанное ранее.]

прекрасной порой в его жизни, когда чувствуешь, что ты живешь». «Он из тех, кого видишь в окне под зеленым абажуром с бахромой из бисера, под люстрой из золоченого дерева или в «интерьере с изящным убранством в стиле модерн». Они так живут, строят или расстраивают свою семейную жизнь, жены или любовницы только и делают, что вытирают пыль, кумекают, считают. Они так живут – забываясь вглубь семейного очага, пожираемые текучкой и кремowymi тортами по воскресеньям. Дорожа только своими добродетелями, достатком, жизнью в четырех стенах и мнением консьержки, они в жизни не видели человеческого взгляда, их хватает лишь на заботу о внешнем виде, costume, «положении». Стоит рухнуть одной из этих перегородок – скандал в семье, но по большому счету это их не волнует, одно только любопытство, одна только злоба: «Ну вот, я же говорил» – и на этом точка, и снова в свой угол, и снова хмурить брови. Новая перегородка, за которой им снова не видать мира, правда, время от времени во взгляде мелькает уроза, ибо в своих мыслях они куда смелее, чем в своих делах. Жизнь устроена раз и навсегда, все вежи расставлены, они кичатся своим «положением», они в высшей степени порядочные люди.

Они и им подобные давно утратили смысл той самой жизни, что гонит людей на открытые просторы, заставляет идти на все. Они так живут, как муравьи, как в муравейнике, воображение ни на йоту не возвысится над повседневными делами и воскресными развлечениями. А тут война – какое приключенье! Родина предлагает вам мишень, на которую можно излить едкую желчь домоседов, родина предлагает вам врага, которого можно ненавидеть, презирать, который неоспоримо ниже вас (мы в своем полном праве). Родина – это и герб для ищущих славы выскочек, и чувство безопасности, ибо они, слишком мелочные, чтобы уразуметь всеобщее благо, будут великодушны в своих пределах, равно как их жены добры в пределах *своей благотворительности*. Завтра они с

тем же воодушевлением отдадут на заклание своих сыновей, это изнеженное потомство тоже утратило чувство человечности, а тут война, настоящая – небывалая возможность превзойти себя самого. Им нужны танки и трупы – чтобы чувствовать себя живыми, благородными, возвышенными. Серая, тусклая жизнь сразу становится кроваво-красной, уже завтра изношенный в конторе пиджачок будет сменен на рыцарские доспехи с унтер-офицерскими нашивками.

Действительно, почему бы не назвать войну самой лучшей порой этих жизней, вскормленных молоком легенд, в которых прародители указывают вам пальцем триумфальную стезю, дорогу долга и добродетели, в дали которой маячит неведомая и изуродованная Победа, неведомая и искалеченная Свобода. И мужчина-ребенок выбирает эту хоженную-перехоженную дорогу, ибо справа и слева он не видит ничего, кроме этих слов – «Опасно для жизни».

**Примечания к «Истории одной девочки»,  
написанные Жоржем Батаем и Мишелем Лейрисом  
в 1939 г.**

**Стр.54**

Краткость этой «Истории девочки» вполне естественна для всякого, кто привык не задумываться о том, что не кажется ему существенным. Здесь изложены события, явившиеся, по-видимому, наиболее определяющими в формировании удивительной личности, ощутимой уже здесь, но проявившейся много позже в этой парижской «девочке», для которой война 1914-1918 гг. была связана с трауром по многим близким. Богатое и благонамеренное буржуазное семейство, откуда она происходила, считало своим долгом оплакивать умерших.

Сам вид набросков свидетельствует, что речь идет здесь не столько о собственно «литературной» задаче, сколько о стремлении во что бы то ни стало объективировать некоторые глубинные узлы, которые завязываются в одновременно резком и чувствительном существе, почти удушая его. И для него это жизненная необходимость – извлечь их из себя, избавиться от них. Здесь, в этих первых набросках, можно распознать страстную и пьянящую жажду «подлинной жизни» (по заимствованному Лаурой у Рембо выражению), беспощадную потребность, которая ее заставила уже в раннем возрасте восстать против католической веры и до самого последнего вздоха не прекращала украшать и опустошать ее.

**Стр.54**

*Детские глаза пронзают ночь.*

На первой страничке авторской рукописи стоит заголовок: «Ночи».

### **Стр.55**

*То был истинно парижский сад.*

Лаура говорит здесь о саде больницы Святой Анны, неподалеку от дома, где жили ее родители.

### **Стр.57**

*Все эти взгляды я разглядела сквозь один.*

Среди прочих рукописных исправлений над словами «я разглядела» написано «Лаура ощутила». Та, кого мы называем Лаурой, намеревалась изобразить себя под этим именем в отдельной от «Истории одной девочки» повести. В следующих далее стихах и текстах есть несколько относящихся к этому замыслу фрагментов.

### **Стр.57**

*Я обитала не в жизни, а в смерти... и до: превосходной частью декорации.*

В рукописях Лауры мы находим многочисленные версии этого текста, иногда в стихотворной форме. Одна из них воспроизведена в самом начале сборника «Сакральное».

### **Стр.57**

*Я долго блуждала...*

Образ «Веракса», связанный с фигурой «Лауры» появляется в эротическом тексте, который мы обнаружим в сборнике «Сакральное». Судя по всему, этот эротический текст связан с замыслом повести.

## **Стр.58**

*Непременная свита ...*

После образа города с его феерическими декорациями, относящихся к последующей части ее жизни и теме, за которую она неоднократно принималась в разных вариантах – после короткого воспоминания о пляже, Лаура описывает процессию, которую ей случайно пришлось наблюдать, когда она была почти ребенком.

## **Стр.67**

.....

Здесь не пропуск. В машинописной копии, взятой за основу данного текста, действительно имеется целая строка точек.

## **Стр.68**

*Один из них вернулся домой...*

Лаура намекает здесь на кончину своего дяди, который вернулся с фронта в дом ее родителей и вскоре умер. Во время войны 1914-1918 гг. Лаура потеряла отца, которого очень любила, и многих из своих дядей – все они погибли на войне, в действующей армии. В одном тексте из сборника «Сакральное» (стр.96) выражено то, что испытала Лаура, когда отец ушел на фронт:

«Одно воспоминание, которое, как мне кажется, заключает в себе итог моего понимания сакрального.

Это относится к вере, за которую люди готовы умереть. Это касается отъезда отца на фронт – отъезда по-особому трагичного, в виду странных (объяснить) обстоятельств, который вверг меня в состояние полной экзальтации, вызванного определенным

предчувствием, добровольным заклятием, да еще перед лицом того, кого приносят в жертву. И все это, в одиннадцать лет, соединяясь с песнями беснующейся толпы – песнями, в которые вливается мой голос, в какой-то миг вдруг замирающий, всецелое физическое потрясение.

Невозможность вновь вернуться к физической жизни в течение многих дней.

Целыми днями я ору во все горло «Марсельезу» и «Прощальную песню».

Мне стыдно, когда я встречаю в метро одетую во все черное одноклассницу, которая потеряла отца».

### **Стр.70**

*Но был один лучик солнца.*

Лора рассказывает здесь об умершем в младенчестве ребенке домработницы.

### **Стр.71**

*Мало-помалу меня охватывало оцепенение этих долгих дней ...*

Болезнь, о которой идет здесь речь, была одним из первых проявлений заболевания, от которого Лаура и скончалась в ноябре 1938 года.

### **Стр.73**

*Нас никто не навещал, заходил лишь «господин аббат».*

«Господин аббат» был организатором католической группы, занятия которой Лаура посещала какое-то время вместе с братом и старшей сестрой.



## Стр.79

*Начиная с этого дня... и до... своей воли на реальной жизни.*

Второй экземпляр машинописной копии дает следующий вариант:

Начиная с этого дня, который казался таким спокойным, безмятежным, крик моего существа хлынул на бумагу: «Вместо колыбели – гроб, вместо пеленок – саван. Что я знаю о любви – похотливый священник, да циничные шутки...не знаю, куда иду, ну и ладно, зато я знаю, где я сейчас: против всех, так же далеко от сестры, как и от брата, но нас четверо, и есть четыре стороны света, я на востоке, почему же? а потому, что солнце только встает, и потом я так отчетливо вижу на севере свою сестру холодную-прехолодную, мой «легкомысленный» брат на юге, а другая уже заканчивает, так никогда и не начав... Какой идиотизм, но раз уж я заурядна, нужно быть заурядной на полную катушку. «Смогу ли я когда-нибудь оставить отметину своей воли на реальной жизни? [...]

В оригинале машинописной копии страничка, соответствующая этому отрывку, отсутствует, вместо нее мы находим половинку рукописной страницы, представляющую, очевидно, окончательный вариант, который мы и воспроизвели.

## Стр.81

*В глубине души я была разочарована... и до: Мне было семнадцать лет.*

Этого отрывка нет во втором экземпляре машинописной копии. В оригинале отсутствующая страничка под номером 30 заменена рукописной страницей, начинающейся со слова «перо» и заканчивающейся фразой «Мне было семнадцать лет». Далее следует страница 31, начинающаяся со слов: «В остальном существование населяли ничтожества».

## Стр.82

*В остальном существование населяли ничтожества..*

На двух рукописных страничках (в черновиках этого отрывка о «выживших») можно было бы, как нам кажется, обнаружить следы того значения, которым Лаура наделяла музыку в ту пору, когда она писала эти строки (которые во втором экземпляре машинописной копии следуют сразу же за абзацем: «Я уходила с головой в музыку...», отсутствующем в оригинале). И действительно, на одной из этих двух страничек в верхнем левом углу стоит пометка «Ре», на другой «Ut», написанные жирным шрифтом и подчеркнутые.

## Стр.84

*Действительно, почему бы не назвать войну самой лучшей порой этих жизней ...*

После этого чуть измененного отрывка на соответствующей страничке рукописной копии идет фраза, написанная карандашом:

«Лишь немногие знают, что, сойдя с этой дороги, они найдут соль жизни».

## Лаура САКРАЛЬНОЕ

### САКРАЛЬНОЕ

...Я обитала не в жизни, а в смерти.

Сколько себя помню,

передо мной все время вставали мертвецы:

«Напрасно ты отворачиваешься, прячешься, отрекаешься...

ты в кругу своей семьи,

и сегодня вечером будешь с нами».

Мертвецы вели ласковые, любезные

или сардонические речи,

а порой, в подражании Христу,

этому извечно униженному и оскорбленному,

нездоровому палачу...

они открывали мне свои объятия.

Я шла с запада на восток,

из одной страны в другую,

из города в город – и все время между могил.

Земля уходила из под ног – поросшая травой или вымощенная –

я висела между небом и землей, потолком и полом.

Мои больные глаза вывернулись к миру волокнистыми зеницами,

руки, повиснув культиями, влачили безумное наследство. Я гарцевала

на облаках, напоминая косматую помешанную или нищенку.

Ощущая себя чуть ли не монстром, я перестала узнавать людей,

которых я, однако, так любила.

И вот я оказалась

в небе Диорамы,

где продрогнув до самых костей,

мало-помалу окаменеваю,

я стала превосходной частью декорации.

В чем для меня выражается понятие сакрального?

Сакральное – тот бесконечно редкий миг, когда «извечная часть», которую несет в себе всякое существо, вступает в жизнь, захватывается всеобщим движением, вовлекается в него, реализуется.

Для меня это нечто такое, что брошено на чашу весов со смертью, скреплено печатью смерти.

Постоянная угроза смерти – пьянящий абсолюте, жизнь захватывает его, приподнимает над собой, выбрасывает наружу мою глубинную суть, это как извержение вулкана, падение метеора.

Самые решительные «шаги» в своей жизни я делала в состоянии транса, только это и позволяло мне действовать наперекор любой преграде (трезвость ума, физическая слабость и т. д., и т.п.).

За это я, не раздумывая, отдала бы жизнь.

Всякий, кто (больше) не способен испытать это чувство, проживает лишенную смысл, лишенную *сакрального* жизнь.

На мой взгляд, определения, которым вы приписываете сакральный смысл – «чарующий», «необычайный», «опасный», «запретный» – сами по себе наделены грандиозным смыслом и соблазном. И этого соблазна вполне достаточно, чтобы придать им того самого колдовства, что нас завораживает, уносит за рамки повседневности, того самого перемещения, ощущения, будто что-то происходит.

Но для меня сакральное не в этом.

Когда вы называете «сакральным» то, что заставляет вас защитить друга от наветов или, скорее, дерзновенно и неистово вступить за предмет вашей любви, я с вами не согласна. Этот миг, когда слово равносильно испытываемому чувству, я называю несколько проще: единственно стоящие моменты «жизни с другими».

(Спешу добавить: никакого стоящего момента в «моей жизни с другими» *никогда* больше не случается, но это добавление здесь ни к чему, оно завело бы меня слишком далеко).

Некогда я не признавала ничего, кроме этих «стоящих моментов». И я замыкалась в полном безмолвии, когда не имела

возможности выразить то, что было для меня единственно важным или, по крайней мере, что заключало в себе чреватый важными последствиями, насыщенный выразительностью смысл. Я терпеть не могла заурядности – ни в себе, ни в других (разговоров «ни о чем»).

Не очень-то человеческое отношение к людям!

Оно проявляется в следующем:

Приходить в восторг от встречи с друзьями... А потом... глупая депрессия, ведь становится ясно, что ничего не было сказано, никто ни с кем ничем не обменялся, каждый остался при своем – в силу вещей или прискорбного малодушия.

К Сакральному относится коррида, потому что есть угроза смерти и настоящая смерть, но прочувствованная, испытанная другими, вместе с другими.

Вообразите корриду для вас одного.

(долго объяснять)

Все, что относится к смыслу бытия для меня сакрально, сам смысл бытия, смысл жизни, смерти.

Что лишает существование всякой возможности почувствовать Сакральное: поддержание форм, поддержание внешних обстоятельств, которые не соответствуют или уже не соответствуют *истине* бытия.

Иные всегда предпочтут, чтобы почва уходила из-под ног – на свой страх и риск: смерть или безумие – но чтобы жизнь продолжалась.

Обратное.

Получается:

жалкая *камедия*,

старческий инфантилизм,

сюсюканье,

лепет, ребячество, упадок, бессилие, а в худшем случае:

Цинизм, вульгарность, скептицизм, полная извращенность морального существа.

Порча: болото губит воду чистейших источников.

А тем, кто превращает жизнь в болото, всегда мало будет нашей жестокости, нашей непримиримости: бежать от них, как от чумы.

«Всякое поэтическое переживание сакрально»?

Соглашусь с вами по причине (к примеру и чтобы не распространяться) самоубийства Нерваля. Да, но разрушение Рембо?

Сакральный миг – бесконечно редкое состояние благодати.

Бывают «пред-сакральные» состояния, которым для исполнения не хватает самой малости

Пред-сакральное в моем детстве,  
например лет в восемь-девять.

Я лежу в саду, на лужайке. В одном месте лужайка заметно возвышается, образуя конус. Я ложусь так, чтобы затылок оказался на самом верху, голова «запрокинута» и мне лучше «видно небо».

В первый раз рядом со мной сестра – та, которой я доверяю, задаю самые главные вопросы: «...а за этим небом есть еще другое?»

Она смеется, отвечая, что их много, других небес. Я тоже смеюсь и говорю, что «конечно же, много, раз есть седьмое небо». Она становится серьезной, объясняет мне, что мы окружены небом, что земля вертится, а небо бесконечно.

Потом уходит.

Я остаюсь и долго-долго лежу, оставаясь в неподвижности и мечтая о бесконечном, пытаясь физически представить себе эту бесконечность. Меня охватывает страшная тревога, но я лежу не шевелясь

и вскоре я начинаю «чувствовать» как вертится земля. Голова моя, оставаясь запрокинутой, «действительно вертелась, причем сильно».

Каждый вечер, когда все стихало, я приходила на эту лужайку, чтобы обрести ощущение вертящейся земли и почувствовать, как я в нем растворяюсь, захваченная головокружением.

Того же порядка:

В туалетной комнате моей матери два больших зеркала, друг против друга.

Я вставала так, чтобы только голова моя оказывалась между двух зеркал, и видела *бесчисленные* головы.

Пробовала сосчитать.

Не получалось.

Меня это раздражало, я продолжала считать, доводя себя до чудовищной усталости и крайней тревоги.

А еще мне нравилось ставить между зеркал какие-нибудь предметы и двигать ими.

Это была поистине волшебная игра.

Просто я думаю, что в точности так же, как и в саду, в этом первом соприкосновении с идеей бесконечного (это с бесконечностью *играет* ребенок, затевая какую-нибудь игру, за которой ему *ни за что на свете* не хотелось бы, чтобы его застали) есть что-то сакральное, в том смысле, что игра сопровождается тревогой, происходит лишь в определенные часы, когда знаешь, что «никого нет», и становится чем-то вроде живой медитации. В самые пронзительные мгновения моей жизни это состояние всплывает в виде воспоминания. Постоянство этого ощущения наводит на мысль о столкновении извечной части человеческого существа со вселенной, но ему не хватает:

- 1) понятия смерти, которое однако же присутствует в виде физического ощущения;
- 2) того, что его нельзя разделить «с другими».

Одно воспоминание, которое, как мне кажется, содержит в себе итог моего понимания Сакрального.

Это относится к вере, за которую люди готовы умереть. Это касается отъезда отца на фронт – отъезда по особому трагичного, ввиду странных (объяснить) обстоятельств, который вверг меня в состояние полной экзальтации, вызванного определенным предчувствием, добровольным заклинанием, да еще перед лицом того, кого приносят в жертву. И все это, в одиннадцать лет, соединяясь с песнями беснующейся толпы – песнями, в которые вливается мой голос, в какой-то миг вдруг замирающий, всецелое физическое потрясение.

Невозможность вновь вернуться к физической жизни в течение многих дней.

Целыми днями я ору во все горло «Марсельезу» и «Прощальную песнь».

Мне стыдно, когда я встречаю в метро одетую во все черное одноклассницу, которая потеряла отца.

Я разделяю понятие социологов: дабы Сакральное стало *сакральным*, оно должно смешиваться с Социальным.

По моему мнению, дабы это *сталось*, необходимо, чтобы это ощущалось другими, в общности с другими.

Вообразите корриду для вас одного.

Мне нужна публика.

Поэтическое произведение сакрально в том, что оно является созиданием некоего топического события, «сообщением», ощущаемым как *нагота*. – Это самоизнасилование, обнажение, сообщение другим того, что является смыслом твоего существования, но смысл этот «неустойчив»<sup>1</sup>.

Что довольно прочно утверждает меня в отрицании других.

1 Этот фрагмент Лаура отдала Батаю, когда началась агония. Впоследствии он обнаружил и другие рукописи, которые и составили книгу «Сакральное» (прим. Ж.П. Фая).



**СТИХИ,**  
*предшествующие лету 1936 г.*

Из настоящего и незримого окна  
я видела как все мои друзья  
делили жизнь мою и рвали ее  
в клочья  
обгрызали до самых костей  
и не желая упустить столь лакомый кусок  
оспаривали друг у друга остов

## СВЯЩЕННИКИ

Священники, всех мастей священники, а также  
лже-священники

Послушайте меня:

Я «нет» сказала благочестью  
и благочестье (с Ангелоподобными чертами)  
благочестье мое, ваш начисто зубов лишенный ореол  
лишь глупо ухмыльнулся

Оно разбилось в тысячу осколков  
Теперь лишь наступает время прямоты  
Той прямоты, где братьями мы смотрим друг на друга.

«Сядь на последний пароход  
тот, что нигде на свете не пристанет»

Тогда я жизнь взвалила на плечи  
и пошла, на сей раз  
держа прямее спину

Уж сколько раз  
вы видели как я  
пускаюсь в путь за смертью?

За преступленным порогом  
луна  
верхом  
на барашках-облаках  
глядела на меня  
будто крылатая победа.

## 8

Очутилась  
взаперти  
в кругу  
откуда бегу  
в другой  
что меня в первый круг  
возвращает

Священнодействия и мерзкие гримасы сливались, путались, друг друга вытесняли, удваивали силу... друг друга уничтожая. «Игра» такая длилась долго-долго.

Мне вздумалось, что я взрываю в небо (кроме шуток), хотя жизнь снова обрушилась на меня своей свинцовой крышкой.

Я играла на всех свойственных моей натуре противоречиях, проживая «до самого конца» все, что несешь в себе – «ради того, чтобы быть подлинной».

Я распыляла себя, бросалась на все четыре стороны с гордой уверенностью, что все время нахожусь в зените, а потом низвергалась, опустошенная, потерянная, без рук, без ног.

Я пускалась в путь по крутым дорогам, по обрывистым склонам, по скалам, над которыми кружат орлы...

Инфернальная 8 все равно ловит меня своим лассо.

Ползу по ее изгибам  
блуждаю по ее извилям  
выпрыгиваю из круга  
падая в другой

в петле задыхаясь  
неподвижным лицом  
извиваясь  
угрем, дельфином, червем дождевым

И кто же, видя знак роковой,  
мог подумать что я в его власти  
пожелал бы снять эти путы с меня?

«Заклученный убегает на свободу, перепрыгнув через стену, причем в том самом месте, где его должны были казнить». *(Из газет)*

**8 МАЯ**

Архангел иль блудница  
Как вам будет угодно  
Все роли  
мне подходят  
Жизни не дают

Простой жизни  
которой я еще ищу  
Она покоится  
на самом дне меня самой  
вся непорочность  
их грехом умерщвлена

Жизнь отвечает – не *напрасно*  
можно действовать  
против – за  
Жизнь требует  
движенья  
Жизнь – течение крови  
Кровь, не останавливаясь, бежит в венах  
я не могу остановиться жить  
любить людей  
как я люблю растения  
и в каждом взгляде различать ответ или призыв  
их мерить глубину,  
как водолаз  
Но остановиться здесь  
Меж жизнью и смертью  
чтоб разбирать по косточкам идеи  
трактовать об отчаянье  
Ну нет  
уж лучше сразу – револьвер

бывают взгляды, словно дно морское  
я замираю  
порой шагаю в перекрестье взглядов  
в скрещении водорослей и обломков кораблей  
иной же раз каждый человек – ответ или призыв.

## ВОРОН<sup>1</sup>

В лесу то было  
тишина царила и тайная  
звезда со множеством лучей.  
В глуби, в лесном просвете  
на опушке  
где низкие деревья  
аркою сплелись  
ребенок промелькнул  
заблудший  
в страхе, в изумленье меня увидев  
когда сама его я разглядела  
в клубке густом из хлопьев снежных.

Нас вихрем, словно он игрался со мной иль с ним  
навстречу понесло.  
Фиалковое, невиданное солнце  
да блики грозовые  
кровь леденили.  
По воле фей и людоедов,  
что состязались,  
пугая нас обоих  
неподалеку  
молнией сразило  
древо вековое  
которое разверзлось  
словно вспоротый живот.  
Я вскрикнула оленьим криком.  
Ребенок,

<sup>1</sup> Датировано январем 1936 года.

чьи ноги были голы и от холода черны  
чью голову скрывал  
насквозь промокший капюшон  
глаза открыл.  
Меня увидев, прочь понесся.

За ним вослед не побежав  
и на проторенной дороге подобрав  
сей странный жребий  
в общем-то логичный  
я повернулась и назад пошла  
«как будто ничего и не случилось»  
но за своей спиной я ощущала  
тяжелый тихий шелест  
птицы с черными крылами  
и осторожно разглядев  
я загадала, чтобы всюду  
он меня сопровождал -  
всегда меня опережал  
как рыцаря его герольд.

Совсем заблудшая  
о камни спотыкаясь  
скользя ногами по опавшим листьям  
и в тине увязая вдоль пруда  
я подошла к заброшенному дому  
колодец мхом поросший и медянка  
стоптавшийся порог  
вхожу.

Заплесневелые цветастые обои  
волною мягкою спускались



к прогнившим доскам половым  
зияющий камин  
показывал следы еще живые потухшего огня  
зола, обугленные кости ясеня, березы.  
Я двери распахнуть пыталась без петель –  
их страшный грохот ужас наводил  
и окна без стекол я открывала  
как будто воздуха мне не хватало.

Но вот по шаткой лесенке я поднялась  
Там стены в надписях каких-то странных, небывалых  
таких до сей поры я не видала  
чтоб жизнь мою они так обнажали  
связуя с именем моим и с каждой его буквой преступления:  
«и по какому праву?  
праву неимущих».

На этом грязном чердаке  
меня догнала птица  
своим криком  
чтобы подстегивать живых  
Своим клювом  
рвать на части мертвецов  
черная тень меня накрывает  
как будто жертвой избирает.

Ночь нашла меня  
В гуще лесной – бездыханной  
Окутала сиянием луны  
туманом убаюкала  
молочной, зыбкой, заиндевелой дымкой:  
«Твою звезду я знаю

иди, не упускай ее .  
А то без имени чужое существо  
что ночь и день отринули  
перед тобой бессильно, и оно  
с тобою вовсе не одно  
поверь  
Когда наутро, на рассвете  
глава твоя падет  
к подножью гильотины  
попомнишь ты  
злодей  
что выпил в одиночку  
из моих грудей  
«все млеко человеческой любви»

## ТЕКСТЫ ОБ ИСПАНИИ

### Пожар в церкви

Я была вне себя и вместе с тем в ясном рассудке, необычайно спокойна, готова встать в цепь, чтобы не дать пожарным подойти и потушить огонь, который пожирал сваленные в кучу сутаны, способна наблюдать за столь ужасной сценой и при этом твердо стоять на ногах. Толпа – школа на перемене, сборище истеричных женщин, а вместе с ними люди, полностью отдававшие себе отчет в том, что они хотели и должны были делать. Злорадный и здоровый смех (вырывавшийся из самих недр присущего народу здравого смысла) вплеталась с криками лютой ненависти. Женщины бросались взглянуть на пострадавших, вид которых был нестерпим (по крайней мере, для некоторых из них). Мне помогало то, что я действительно была *вместе* с ними, а не безучастной зрительницей, что ими ни на минуту не овладевало недоверие, а мной – недоверие и страх. Все друг с другом заговаривали, ловили друг друга за руку, так им было легче, надежнее. Я не противилась и не понимала, почему меня хватили за руки то мужчины, то женщины, но и этого было достаточно, чтобы, за отсутствием нужных слов, по-своему ответить.

.....

Испания... Это как ветер, который дует вам в лицо: выбирать не приходится.

На каждом шагу – Святая Тереза и вязальщицы. Мистический восторг и святотатство. Полагаю, что нет никакой истинной жизни в том смысле, в каком я понимала бы истинную жизнь, если бы верила, что она где-то существует... кроме как в несуществующих

созданиях. Что обнадеживает, утешает и исцеляет – чувство локтя, сокровенная надежда, порождаемая этими соприкосновениями с людьми. Приводит в уныние – глубокая пропасть между революционной силой толпы, готовой на все и способной самостоятельно организовывать свои «эксцессы» и бездарностью, слабоволием вождей и интеллектуалов, считающих все это лишь прискорбными «эксцессами» «люмпен-пролетариата»...

Окраины  
пустыри  
купающиеся в небесах луга

В голове перемешались  
Реки и вина  
Москва и Манджанарес  
где это было?

Земля приоткрывается  
Все они тут  
кто чудом  
с радостью делили  
ненависть и радость.

В потоках крови утонули детские улыбки  
В огне пулеметном смолкли юношеские песни  
вера надежда любовь  
«спустились в ад».

По ту сторону от  
поражений тяжких  
опрокинутых побед  
искалеченных свобод  
смертью возопила война

Все они тут  
В кромешной бездне  
скалясь над братьями своими  
живыми  
беда глашатаями  
что убиваются над прахом  
причитая на могилах.

Скелетов челюсти  
хрустят и исторгают  
хохот злобный  
едва до них доносятся  
теней сих облеченных плотью  
причитанья.

«Создания безобразные, уроды  
неужто в том ваше проклятье  
что места всем под солнцем достает  
и что можно пережить и то,  
ради чего единственно  
вам жизнь достойною казалась?»

Все время вне игры:  
ведь вы в ладах с собою  
и вам не суждено предаться в ослепленье  
когда зрачки сверкают, уста пламенеют, нутро горит  
благотворной бойне.

У вас по горло дел на кладбищах истории  
По горло передумать дум  
Несчастной тяжелой головой  
По горло слов сказать устами горькими  
С коих лишь нелепости слетают

У вас по горло также  
Сокровищ расточать  
пустыми навечно руками  
Создания безобразные... уроды  
вам все еще неведомо  
что миг один и тот достоин жизни

вам хочется, чтоб длились чудеса  
что нашими стараниями творятся.  
Что в жизни вам отпущено  
течет песком сквозь пальцы  
а вам, застывшим, и дела нет  
или в ритме кукол заводных  
несетесь гибели своей навстречу  
иль продолжаете упорно доверять  
вы мудрости своей благой  
и ясному рассудку.

Да, ваши слезы – смех да и только  
Раз не дано вам впредь  
«плуг и лемех вести по костям  
мертвецов»  
значит вскоре  
наш *ад* спустится на землю:  
в хаосе гулком, глухом и сияющем  
огонь небесный  
комья земляные  
лава кипящая  
каменья драгоценные  
вас в сердце самое сразят

## Коррида

Мишелью Лейрису

Дорогие друзья,

Не забудьте, что вы обещали отклик на корриду. Думаете, что можно будет задержать, как с откликами на книгу?

Изрыгнул ли бык *всю* кровь из своих легких, как это было на *моей* первой корриде? Запах крови поднимался до самых верхних скамеек, до самых далеких от арены мест, где я сидела между торговцем скотом, который кричал оленьим криком, и утопавшей в слезах девушкой, которую должна была увести оттуда сестра (испанка, между прочим). Это продолжалось очень долго. Невозможно понять, как бык держался на ногах... Как будто его просто рвало. Он так и стоял, пока не начал плавно раскачиваться на четырех ногах... затем передние ноги подогнулись, и он упал на колени в лужу (вершил свою молитву) и наконец завалился на бок. Судя по всему, рана была нанесена слишком неумелой, слишком подлой рукой, и публика это подтвердила или надеялась подтвердить, когда все как один засвистели. В этот миг вдруг переменялась погода, свинцовое небо нависло над клубком змей, я едва успела оставить это место, когда блеснул последний лучик солнца и вот-вот должна была разразиться гроза.

В тот день уж лучше было бы поджечь арены. Может, в прошлое воскресенье все было так же «великолепно»?



# ФРАГМЕНТЫ И НАБРОСКИ ЭРОТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ

## Лаура

Однажды вечером они столкнулись на перекрестке, и разом обернувшись, чтобы разглядеть друг друга «по крайней мере, со спины», оказались лицом к лицу.

Взгляды встретились: мужчина требовал, чтобы она подошла, женщина сгорала от желания броситься к нему.

Не двинувшись с места, он сказал, когда она приблизилась: «Я знаю, кто ты – девка, ты дочь, сестра, мать и сука похоти; сделай же, что ты умеешь, мне невтерпех». Она ответила пощечиной и скрылась.

Но ей вслед раздался смех, повиснув у нее на шее как бубенчик, он и вернул ее... на поводке.

Он так и не двинулся с места, зато сверкал членом в ночи; взяв его в руку, раскачивал справа налево, слева направо, поначалу не особенно стараясь. Она подошла: свободной рукой он ударил ее по лицу, она рухнула на камни мостовой. Когда она попыталась подняться, он плюнул ей в лицо, потребовав, чтобы она осталась лежать. «Здесь тебе и место, тебе к лицу эта грязь вперемешку с лошадиным навозом, поваляйся, как следует». Он был прямо над ней, стоял не стигаясь, в вышине, его член сверкал в луче света; и она его возжелала, его захотела, а он сказал ей тихим срывающимся голосом: «Ты еще смеешь хотеть, сука ты, трижды сука»; он перешагнул через нее и приказал оставаться меж его раздвинутых ног, которыми предусмотрительно подталкивал ее прямо к сточной трубе, забитой нечистотами. Она так и перекатывалась, прижав руки к телу: с живота на бок, потом на спину, затем обратно, словно в бреду и не видя перед собой ничего кроме раскачивающегося, победоносного, задающего ритм члена. Наконец, она докатилась до

тротуара, очутилась в журчащем ручейке грязной воды. Приподнялась: в волосах кишели отбросы, горели безумием глаза, пожелтевший по краям и перепачканный грязью, но по-прежнему жадный рот, и руки – они поднимались, тянулись вверх, белые, полупрозрачные, к этому члену. Сама мольба, само приношение. Он плюнул в приоткрытый рот и впился зубами в пальцы – столь тонкие, что у него во рту они сразу превратились в кашицу из нежных хрящиков. Когда он стал пятиться назад, чтобы она не теряла из виду чудовищного члена, она поползла за ним, поползла на коленях и обрубках кистей.

Он так и пятился, дойдя до громадной романской двери, куда он вошел задом, поднявшись по нескольким ступенькам, и куда она вползла за ним, как побитая сука. Он проник вглубь мрачного помещения, шел по какому-то узкому коридору, она ползла за ним по пурпуровому ковру, влача свое зияющее кровоподтеками и нечистотами тело. Поднявшись в полной темноте еще на несколько ступенек, он приказал ей встать на колени перед разделявшей их низкой решеткой. Обернув руки белой тряпкой, он вложил в них свой член.

Как только она причастилась и проглотила сперму, пальцы отросли (на ногтях был лак «Ангелус»), израненное тело обрело здоровье.

Сам собой заиграл большой орган, восславивший это чудо. Мужчина и женщина, Веракс и Лаура преспокойно отправились испражниться в кропильницу и помочиться в дароносицу, потерлись смоченным в святой воде алтарным покровом, и вернулись к своим делам, к своей жизни, каждый час которой был наполнен своей радостью и своей ненавистью.

На следующий день она забралась на алтарь, чтобы показать зад всем верующим, и священник, вознося дары, раздвинул ягодицы и просунул меж них облатку, а затем принялся лизать этот

божественный зад и лизал до тех пор, пока мальчику из церковного хора, вставшему перед ним на колени, не удалось с помощью кадила высвободить из золоченных кружев член кюре и проглотить брызнувшую ему в лицо Святую Молофью. Тем временем Лаура, заткнув зад свечой, оголила живот и жизнь, дико крича и сотрясаясь, она расшатывала главный алтарь, который и рухнул под ее тяжестью.

И тут все увидели, как мерцает в дерьме серебряный Христос<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Окончание этого текста имеет и другую версию:

«Он, отступая назад, а она неотступно ползя за его тенью, залезают в брошенное такси.

Спустя два дня весь квартал в страхе ожидает какого-нибудь таинства, несчастья или преступления, дворник зовет священника, тот открывает дверцу, и ему в лицо извергается поток спермы. Когда же машину очистили от спермы, то в щелке между двух досок обнаружили двух дохлых рыбок – скалярию и гуппи».

Раздается пронзительный вопль:

Здесь детей убивают.

Шум захлопывающихся окон, позвякивание ключей, притворная тишина.

Утверждение оборачивается против вас: все выходит наоборот.

Пусть примитивно прожитая жизнь даст людям возможность экстаза.

— решиться на преступление: «Ее глаза горели словно звезды, можно подумать, что ты в церкви».

— совершив преступление: месть и любовь, кровь и сперма.

— «мы на вершине горы», «мы горой раздавлены».

— стремительность «детективного романа», чувства и психологический анализ.

— человеческие существа, *из плоти и крови*.

— продолжать

да: так нужно для меня и для других,

чтобы прояснить недоразумение

сказать все,

внезапно прервать и продолжить

уже в иной форме

ретроспективного дневника.

## ЛИБЕРТИНАЖ

### этапы «Лауры»

Появление на свет в хлеву, в сене.

Она разродилась.

Родившись на свет от монстра.

Дом

детальное описание женщин:

румяна

туалеты

тела

ужин у графини

Ее друзья приглашают лакеев.

Ужин: описание

– Впечатляющий выход сводников.

– Посещение комнаты детей-мучеников.

мясные крюки

детальное описание

положение тел конечности

цепи

веревки

Продается – женские слезы

Продается – клятвы здоровьем своих детей

Продается – безумие и страсть

Лишенные корней взлетают ввысь

отбросив реальность

голоса чревоушителей

маски клоунов

Назад в этот узкий мирок в виде сладкого леденца или жаркого  
основа материальной жизни.

Смех торжествует.

*Забиться в норку Ну уж нет  
каким огнем мы согреваемся  
каким мы членом ПРОБАВЛЯЕМСЯ*

В сортир  
В сортир вершины  
идеализм, людей, что отправляются на  
высокую гору и *раздавлены* этой горой  
В сортир  
В сортир  
высокие чувства  
    тяжкие страдания  
    пусть все стоит вверх дном  
    пусть сводницами станут наши матери  
    пусть наши жены станут шлюхами  
    дочерей изнасилуют

– Да как же это можно допустить?

– Как можно допустить? Бурю и мертвый штиль, дождь и солнце, можно допустить? Этот жизнь... жизнь, какая она *есть*, а не *иная*, какой не бывает.

– Я? Но милая моя, я готов питаться всухомятку, но ради чего-то последовательного, организованного, так вот, говорю вам, я готов – в высшей степени готов.

– Вы знаете: мне нравятся большие.

Послушайте, все, что угодно, но не эти торопливые и сомнительные признания, не эта болтовня истеричных женщин, раздражающие и унылые рассказы:

– Но ведь это невозможно?

– Почему же невозможно?

– А почему возможно?

– Если он тебе нравится?  
– Он мне не нравится.  
– Какое легкомыслие!  
– Этого только не хватало!  
– Дамы и господа – Дорогие друзья, я сейчас раскрою вам добродетель, благовоспитанность, благопристойность, такт, шарм, откровенность.

Откровенность – (она показывает зад) –

– Да что вы!

Откровенность, ты щель и дыра, бездна, ты никакая не вершина.

Заметьте, что все собрание хохочет в один голос, хохочет во все горло, хохочет до упаду, заметьте, что это же самое собрание более чем откровенно... вселяет уверенность и ... с любовью относится к делу.

– Слишком уж примитивно, дорогой, до чего же примитивно!

– Увы!

– Как тяжело тут у вас!

– Откроем окно, а? Здесь можно задохнуться. Как тяжело!

Не надо этого говорить – впустите безумца – свежего, здорового  
понимание как-никак.



## СТИХИ И ТЕКСТЫ написанные после лета 1936

Медленное раскаяние слабых  
Они живут жизнью трупов  
Написать на двери:  
«Оставь надежду  
всяк сюда входящий  
не быть тем  
кто ты есть»  
Или же «Здесь живут нагим»  
или нагими  
или нагой

Человеческое существование бесценно  
стоит ни больше, ни меньше, чем все сущее  
растительное, минеральное, животное  
все, что блестит, воеет, ревет, стонет  
рёв слона  
мычание коровы.  
Осел ревет, змея свистит.  
Нет столь мощных связей, чтобы они вырвали  
какое-то существо у смерти. Смерть торжествует.  
Смех – Радостная дерзость: «Ведите  
ваш плут по костям мертвецов»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Этот афоризм Уильяма Блейка взята из цикла «Бракосочетание Неба и Ада» Буквальная цитата: «Drive your cart and your flow over the bones of the dead».

Как это должно быть раздражает, этот червь  
беспокойства, что гложет часами  
сука отчаянно воет на луну  
ангел хранитель  
улыбается глупо  
Младенец Христос, я дарю вам свое сердце  
хлев обветшалый  
балки гнилые  
хлипкие стены  
медленно оседают  
и рушатся...  
Изумленному взору  
прохожих  
девчонка  
предстает  
в сене  
ублажая себя

Жить? Нет больше ни смысла, ни оснований  
Надобно найти какую-то ценность.  
Себя (свое я) навязать? *Нужно быть Макиавелли.*  
Во имя *каких* ценностей?  
Надобно восстановить *какой-то* авторитет.  
С презрением осудить  
(решительным презрением, что хлопает, как дверь)  
слабака.

а что, если несчастья  
или великое несчастье  
принесет то, что будет мне необходимо  
чтобы реализовать себя  
чтобы *двинуться дальше*  
все *дальше и дальше*  
а они твердят о ПРЕСТУПЛЕНИИ!

Высшее мужество  
совершить преступление  
и уверенно отрицать его  
перед всем миром

## Фрагменты из тетради, написанные в 1937 г.

Избегать контактов с любым существом, в котором не чувствуется никакого возможного отклика на то, что вас глубоко затрагивает и по отношению к которому у вас есть обязательства «учтивости», вежливости. Поскольку пресловутые обязательства меня чрезвычайно сковывают, как только я оказываюсь в присутствии подобных существ, сковывают пагубной привычкой к терпению и благожелательности, становящимся на деле готовностью к унижению (порой отвратительному). Представьте, что музыкант в оркестре из учтивости вторит соседу, который играет фальшиво.

Бежать – в буквальном смысле бежать – тех, с кем можно обменяться лишь абсурдными замечаниями насчет других, таких же как они, которые и сами обменивались накануне точно такими же замечаниями или столь же пустыми сплетнями насчет сегодняшнего собеседника.

Есть люди, которые в конечном итоге начинают водиться с теми и даже называть *друзьями* тех, кого они постоянно поносят.

Ненавижу «доброту» и «учтивость», которые неизменно приводили меня только к *унижению*.

Хранить молчание, как прежде. И то лучше.

Презирать всякого, чьи разговоры сводятся ко всему, что мне ненавистно, чего я избегала: вульгарности и мелочности. *Все это отдает водевилем*, и они с этим свыклись.

Раздражение от смешков и улыбочек, распускающихся махровым цветом на этой почве.

Порой мне достаточно услышать чей-то смех, чтобы почувствовать если и не отвращение, то недоверие к этому человеку.

Эти мгновения, когда вежливое недоверие еще хуже, чем отвращение, потому что оно более сдержано: я не в силах себя сдерживать, во мне все кричит, взывает к *отвращению*.

Отсутствие сдержанности, моральной чистоты шокирует меня на каждом шагу, так как вследствие определенных нервных реакций (физических) я сама не могу ни сдерживать свои порывы, ни скрывать свои чувства.

Одни расширяют горизонты, другие сужают.

Насколько мне предпочтительней откровенная шлюха.

Как бы не увязнуть там, где утрачено *главное*, где все становится вульгарным, низким и мелочным. По своей вине, из-за воли к унижению. Чувство унижения. Что «заранее проиграл». Слова «Ты прах, и в прах обратишься» сродни самому праху. В эти минуты невозможно быть физически *чистой* и свежей. Стыд или ложный стыд.

Проще простого: обвинять других в том, что они поверхностные = блистательные = живые.

Возврат к простодушным существам, к детским реакциям, трудное возвращение.

.....

Одиночество гложет, как язва  
Разорвать этот круг  
Вырвать этот кляп

Грусть и Горечь  
все гложут и гложут  
сердце, как крысы

Позор тебе,  
наверно?

Но точно уж не  
*столь забавный* сдвиг  
в словах

Что презирать?  
Обыденность  
бесцветность серость

.....

Пора признать, что религия преступления нас отравляет  
точно так же, как и религия добродетели.

Мы точно так же ненавидим невинность, которая рядится в  
добродетели преступления, как и преступление с невинными  
чертами.

.....

Если я страдала, то из-за БОЛЕЗНИ.  
Здоровые не могут страдать.  
*Счастье* доступно всякому, кто горд собой.

.....

Вот наступает Время Презрения, но позаботься о том, что-  
бы то было презрение без ненависти, без враждебности, весьма  
естественное, спокойное презрение, уверенное в себе и без всяких  
язвительных или истеричных выпадов, без ложной веселости, без  
горькой грусти.

Ничто не потеряно  
Поскольку я живу  
Все реки



я пройду вверх по течению  
преодолею  
все пороги  
море, волны

Цель: разрушить христианский дух и иже с ним, как то: инстинкт смерти, идентификация со смертью, жертвоприношение, прах, подслащивание.

Вкус к отвращению, вызывать омерзение, смешаться с грязью.

Привлекательные существа.

Чему \*\*\* меня научил.

Я порвала с христианским духом и иже с ним.

Смысл жизни,

открытый Ницше.

Ницше обретенный, а не кое-как затверженный.

Максимально полное освобождение

Вне всякого порока

добродетели.

Пушка отбивает часы, поскольку каждый час неделим, бесповоротен, незаменим, каждый час приносит свои жертвы. Время косит головы в полях. Нет бескорыстных поступков. Время – это тебе не бородастый и слюнявый старичок, это мужчина в расцвете сил, что косит головы.

*(Сиенна, август 1937)*

## Фрагмент неотправленного письма

Вам известно, что одна театральная труппа «дает» «Сквозь ад» Рембо.

Эти театральные люди просто умора – либо они полагают – в силу издержек профессии – что могут низвести существование до уровня непристойных парижских водевилей; либо у них появляются такие вот притязания: «Сквозь ад», каково! Возвращайтесь поскорее, меня обуревают священные негодование, и надо с кем-то поделиться. Временами жизнь становится неистойой, бесшабашной, несется, как конь, закусив удила. И он даже не думает сдержаться, этот конь, закусивший удила, во всяком случае, не больше, чем капитан хрупкого ялика (sic), что несется по бурным горным рекам во время трагических наводнений (о которых судачат десятилетиями); он *знает*, что приближается к разлившимся шлюзу, к огромному водопаду, к водовороту, который вот-вот его поглотит, сотрет в порошок, но он, кажется, так и рвется к своей неотвратимой цели. У него нет времени сжечь свои бумаги, но он может *кричать, вопить* на ветер, ведь он из унесенных ветром.

(октябрь 1937)

Все, что зависит от нерушимой цельности.

Ничего, что можно «исправить».

Ничего общего с ребенком, который выбивает стекло, «потому что назавтра его все равно вставят».

Можно околоть от холода из-за выбитого и *не вставленного* стекла.

Иные только и делают, что вставляют выбитые окна.

Жизнь: кончена.

Когда становится «привычкой» – потребность «продолжать»  
– быть «на высоте».

Постоянство:

стремление к неподвижности

= усталость

Долой все, что не от крика радости (понимания), гордости.

Долой стенания и все, что не от счастливой задиристости  
четырнадцатилетних юнцов.

Ничего, кроме крика радости или гордости. Сжечь все, что  
не от *этого*.

Идти *своим* путем, собственным путем и ничьим больше.\*

Известна ли тебе *чья-то* судьба, подобная твоей собствен-  
ной? НЕТ.

Одна я видела и вижу, как можно видеть: абсолютно  
и с такой дали.

\* Этот фрагмент Ж. Батай поместил сюда, изъяв его из «Красной тетради», датированной 1938 г.

## Фрагмент неотправленного письма

*Сегодня.* – Мне нравятся безумные и радостные иконоборцы. Занудство любого постоянства – да: страшное желание послать вас в жопу, так желают кинуться на шею любимому.

Тут нет никаких недоразумений: эти первосвященники мне нравятся своими безумствами.

Никакой литературы. Судите сами:

«...он мой товарищ по игре. Нет никакого смысла во вселенной. Игривость! Смех и слезы, все роли в пьесе. Мир развлекается! Школы отпущенных детей, кого хвалить? Кого хулить? У него нет головы. Нет мозгов. Он дурачит нас с каплей мозгов в своей голове. Но на этот раз я не дамся. *Я знаю, как играть в эту игру.* Помимо разума, науки и всех на свете слов есть любовь.

Наполни кубок, и мы станем безумцами»

Иконоборцы, да, но не деланные, не кривлянье, не слащавость, не уловки. Вы хотя бы это понимаете?

*(июнь или июль 1938)*

Я тоже отлично вышколена... с такого-то по такой-то час.

Мы все ученые-преученые обезьяны.

Смеяться – смеяться – смеяться.

Уметь играть в эту игру.

Внимание: заметят ли они, что *черное* на самом деле значит *белое*, нет, нет, никогда.

Это просто: нёвозможность подлинного обмена – уже никогда.

Какое облегчение: я никогда не бываю там, где ищут другие меня, где они надеются меня *поймать*.

Существование: щелочное и сладковатое.

Хватит – хватит – хватит.

Вам следует быть «поосторожнее» – взвешивать мои слова, как проверяют сдачу: сдачу с вашей купюры.

«Нормальный», инфантильный голос, таящий беспощадную иронию. Но вы так отлично вышколены, что этого не чувствуете. Кто бы мог предположить, что можно так далеко зайти в сокрытии, причем всего лишь себя самого, а не поступков, деяний, корыстных, обдуманных целей.

(июнь или июль 1938)

## ПОСЛЕДНЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

### Я видела ее

Я видела ее – на этот раз я видела ее  
где? Где заря граничит  
с ночью  
заря в саду  
ночь в спальне

с кривой улыбкой и  
ангельским терпением  
меня, я знаю,  
ждет она

Затем каким-то голосом далеким  
сказала мне она  
Ну, нет  
Ты безумицей не станешь  
Слышишь, ты не будешь так себя вести,  
Ты будешь делать то и это. И говорила, говорила так,  
а я уже не понимала  
ничего  
За нею следом против воли я ступала  
В шуршанье платья с треном и со множеством оборок  
колышущихся при каждом шаге.  
она исчезла  
в шелесте, сиянье  
по узкой лестнице расшатанной  
поднявшись

Там наверху  
мужской отдел, несметное количество одежды  
В закрытой комнате стоит жара  
Единственно живое существо  
она  
она проходит по пустым пространствам меж манекенов  
застывших каждый с маской на лице

## Жорж Батай, Мишель Лейрис Примечания к «Сакральному»

Несколько месяцев назад умерла та, что сама назвала себя Лаурой. Умерла в тридцать пять от болезни, которая ни в чем ее не умаляя, преследовала с самого детства.

Восстав с раннего возраста против буржуазного и католического воспитания, она, после длительного пребывания в России, всецело посвятила себя коммунистической фронде, удовлетворив тем самым потребность придать своей жизни какой-то смысл. Когда различные обстоятельства заставили ее отказаться от политической деятельности, которая перестала иметь для нее хоть какой-то смысл, ей потребовалось оправиться, по ее собственному выражению, «от этого сильнейшего потрясения, каковым оборачивается утрата веры». Постоянно переживая моменты отчаяния – счастья или каприза – она сумела обрести «как нельзя более целостное состояние сознания», высшее устремление, на которое способен только тот, для кого *полнота существования* занимает исключительное место в ценностной шкале.

Несмотря на все превратности, страсть, сопровождавшая Лауру в поиске собственной истины, так и не иссякла. Афоризм Уильяма Блейка: «Ведите ваш плуг и лемех по костям мертвецов» стал последней фразой Лаурой, написавшей ее за несколько дней до кончины, указав на книгу, которую ей хотелось перечитать. Несмотря на то, что она, теряя себя в себе, мнила себя «в глубине миров», собственную агонию Лаура называла «убранной цветами корридой».

Собранные здесь тексты представляют собой лишь малую часть послания, выраженного во всех рукописях, оставленных Лаурой после сожжения того, что она считала нужным уничтожить (она все же не успела переработать, как сама того желала, свои заметки,



которыми так никогда и не была удовлетворена). Ближайшие друзья знали о существовании некоторых сочинений, подозревали и о наличии других, но никому из них она не сочла нужным их передать. И хотя такая осторожность может быть объяснена интимным характером текстов и той беспощадной суровостью, с какой Лаура относилась и к себе и к другим, в ней следует также усматривать показатель того чрезвычайно важного смысла – собственно *сакрального* – который она придавала «сообщению». Незавершенные наброски на тему «сакрального» – наброски, о которых она открыто говорила – и легли в основу этого предварительного сборника, за которым последует полная публикация. К этому тексту, затрагивающему то, что, похоже, во все времена, в какой бы форме она это ни формулировала, составляло одну из ее жизненных забот, мы присоветовали несколько стихотворений и других сочинений, которые, как нам показалось, тем или иным образом связаны с ключевой проблемой сакрального, такой, какой она вставала перед Лаурой.

Надо ли добавлять, что просто невозможно свести к какой бы то ни было определенности одну из самых бурных, самых противоречивых жизней, какую только мог когда-либо прожить человек? Алкая нежности, алкая срывов, разрываясь между крайней дерзновенностью и ужасающей тоской, оставаясь для людей столь же загадочной, как какое-нибудь сказочное существо, она рвала себя о тернии, которыми сама себя окружала, превращаясь в зияющую рану, никогда никому ни в чем не уступив.

## Стр.91

### САКРАЛЬНОЕ

Представление о «сакральном», выраженное в этом тексте, свидетельствует об определенном жизненном опыте: оно не противоречит понятию, которое социологи выводят из изучения менее развитых обществ – но оно явным образом от него отличается.

Речь идет о том, что же это слово – по праву либо без оногo – затрагивает в человеческом сознании. Без всякого на то права – значит вне всякой связи с совместным человеческим опытом, на котором основано существование сакрального.

По своей сути это представление ведет к определению, которого никогда еще никто не давал (ни Лаура, ни кто-либо другой), хотя его можно вывести из самого текста.

Это определение связывает сакральное с такими моментами, когда изолированность жизни в индивидуальной сфере вдруг прерывается, с моментами сообщения людей не только между собой, но и со всей вселенной, где они обычно ощущают себя чужаками: сообщение надлежит понимать здесь в смысле слияния, потери человеком самого себя, чья целостность находит свершение в смерти, а образное выражение – в эротическом слиянии. Такая концепция отличается от концепции французской школы социологии, в которой рассматривается только сообщение людей между собой; она затрагивает то, что постигается мистическим опытом и оживает в ритуалах и мифах.

Публикуемый текст был написан летом 1938 года, когда Лаура доживала последние месяцы. Но значение сакрального для всей ее жизни, начиная с детства, отчетливо выражено в следующем пассаже из «Истории одной девочки»:

«Только на чердаке, куда никто добирался и где по-прежнему стояла затхлая атмосфера и светились витражи.

Там я и пряталась, взгромоздившись на старый дорожный сундук с молескиновой обивкой или же присев на маленькой расстрепанной плетеной скамейке. Там я без конца рассказывала себе истории, чаще всего ту, что происходила до моего рождения, во времена, когда я обитала на небесах. Или же с увлечением разглядывала белую фигурку благостного Иисуса, белокурого Иосифа, голубые, розовые, золоченые образы, усеянные звездами, завернутые в

шелк, перевязанные шелковыми ленточками. Или же мыла куклу и принималась обследовать собственное тело, что мне было строго-настрого запрещено. Эта тяга ребенка к своему телу, хотя ему прекрасно известно, что Бог все видит и даже на этом чердаке не спускает с него глаз. Тяга, любопытство и... страх. Жизнь быстро все расставила по своим местам, подвесив тебя между двумя полюсами: с одной стороны, все священное, благоговейное, все выставленное напоказ (оцепенение моей матери после причащения), с другой – грязь, стыд, все, чему нет даже названия. Но оба вместе куда более таинственные, притягательные, напряженные, чем тусклая повседневная жизнь. И мне предстояло метаться между низким и возвышенным, долгие-долгие годы, из которых навсегда улечивается истинная жизнь... Священнодействия и мерзкие гримасы сливались, путались, друг друга выгесняли, удваивали силу... друг друга уничтожая».

Эти два полюса, представленные таким образом Лаурой, вовсе не являются один сакральным, а другой противоположным ему, и тот и другой – сакральные; это два противоположных полюса внутри мира сакрального, поскольку «сакральное» означает одновременно и достойное ужаса или отвращения, и достойное обожания.

Та же двусмысленность проявляется в иной форме и в этих строках, которые несомненно были написаны для будущей «Истории одной девочки», но в текст не вошли:

«Лаура вновь обрела Бога. То был не человек, она сделала из него героя, святого. В его объятьях ей и захотелось, чтобы он причинил ей боль. Она придумала, что ее бьют, нещадно избивают, ранят, что она жертва, над ней издеваются, глумятся, презируют, а затем снова обожают и почитают как святую».

Стихотворение под названием «8» возвращается к теме оппозиции и строится на основе фразы-лейтмотива «Священнодействия, мерзкие гримасы...»

В этих противоречивых текстах проявляется не только предельная тяга к сакральному в двух его формах – омерзительной и обожаемой – но и порождаемая сакральным непомерная тоска. В своем существовании Лаура постоянно металась между этими двумя полюсами – мерзким и возвышенным – и в то же самое время тем, что она называла «истинной жизнью», простым счастьем, к которому не переставала стремиться. То, чего она достигла после долгих колебаний и в особенности, когда жизнь ее стала подходить к концу, такого понимания сакрального, которое, придя в противоречие с ее детским пониманием сакрального, обрело для нее упительную ценность, вовсе не значит, что она узнала хотя бы день покоя.

На страничке рукописи с заглавием «Сакральное» написаны эти слова:

«Различные темы Конрада. Вина. Угрызения. Искупление». Слово «Конрад» зачеркнуто.

### **Стр.92**

*«В чем для меня выражается само понятие сакрального?»*

Цитата из текста Мишеля Лейриса «Сакральное в повседневной жизни» (Н.Р.Ф., июль 1938), вышедшего в сборнике «Манифест Коллежа Социологии», который открывался текстом Ж. Батая «Ученик чародея».

### **Стр.92**

*Постоянная угроза смерти – пьянящий абсолют ...*

Уже одним из писем 1934 г. Лаура писала:

«Идея смерти, когда следуешь ей до конца... до полного разложения, всегда приносила мне освобождение, а в тот день как никогда. Я во всех деталях рассматривала различные формы

«несчастливого случая», и все они казались мне желанными и восхитительными. Мне становилось покойно и даже весело.

И в (не отправленном) письме (август 1936):

88

«Ну что ж, а если это – смерть?

«Достанет ли мне мужества любить смерть?»\*

Боюсь, что во мне что-то *сломается*: разобьет паралич, окажусь слабой.

Не заменяют ли наваждения страх перед Богом? Допустимо ли до такого дойти?

Я хочу говорить о «любви к смерти», потому что только это значит любить жизнь *без ограничений*, любить ее настолько, вплоть до смерти. Испытывать не больше ужаса перед смертью, чем перед жизнью. При этом условии я чувствую, как снова становлюсь... благородной.

### Стр.92

*... выбрасывает наружу мою глубинную суть ...*

В первой, черновой версии этого текста Лаура написала: «выбрасывает наружу сокровенную сущность человека».

### Стр.92

*Когда вы называете «сакральным» то, что заставляет вас защитить друга от наветов ...*

Намек на разговор Лауры с Мишелем Лейрисом, которому и предназначался этот сборник заметок о сакральном, хотя они и не дошли до него при жизни Лауры.

\* «Я становлюсь, как старая дева, мне не хватает мужества любить смерть» (Артур Рембо, «Сквозь ад», «Дурная кровь»).

*Бывают «пред-сакральные» состояния, которым для исполненности не хватает самой малости.*

В следующем тексте окончательно выражено значение, которое имели для Лауры эти два опыта:

«Эта девочка, которая падала в обморок из-за отмены вечерней молитвы – каким авторитетом она обладала в моих глазах! Как я ей завидовала: обмороки, болезненная усталость, то были знаки высшей набожности.

Принимающие первое причастие девочки, которых я видела, стоя за одним из витражей.

Зеркало и

Лужайка... седьмое небо

Влажная земля была ли я когда-нибудь еще дальше?

Раздавленные сочащиеся цветы

Цветник...

Мои привычки.

Превращение в пепел

Всё в сточную канаву»

Незадолго до того, как были написаны эти заметки о сакральном, Лаура пробовала заняться медитацией, следуя следующей схеме из книги Д.С. Лонсбери («Буддийская медитация»), хотя сам дух этой книги вызывал у нее отвращение: «лежа на спине на открытом воздухе, смотреть на небо, на облака, в пространство – Пространство безгранично – Все является пространством – Пространство в нас самих – Думать о пространстве между звездами, между клетками своего тела – везде – заполнить свой разум идеей пространства. Сделать так, чтобы исчезли: облака – земля – небо, чтобы отождествить себя с пространством. Не осознавать ничего, кроме пространства». По всей видимости, это единственное упоминание подобного рода, которое Лаура выполняла.

## Стр.96

*Одно воспоминание, которое, как мне кажется, содержит в себе итог моего понимания Сакрального.*

Можно соотнести это воспоминание со следующим отрывком из «Истории девочки»:

«Все ожидали шествия. Я видела флаги и знамена дебильных юнцов и кривоногих старцев (с тросточкой в руке); увидела хорутви и мишуру пропахших потом священников (зеленые вонючие подмышки), видела засаленные наплечники и четки девушек, трепещущих чад Марии: «Отец мой, меня посещали дурные мысли». Все орало и выдыхало гниль зубов: мы наде-е-е-жда Франции. Три старухи, тряся жирными патлами, обнажали меж усов вставные челюсти с остатками прогорклой облатки.

И вот ты под флагами, какая нездоровая святость! Хочешь – разочаровано улыбайся, хочешь – залейся веселым смехом... Но нет, я остаюсь тут, изрыгая кровь своих предков, которые похожи на тебя».

Смерть отца, затем дядей, убитых на войне, оказались для Лауры мучительными и решающими событиями.

Черновой набросок этого же текста начинается словами: «Я чувствую, что не вправе закончить, не приведя одного из воспоминаний моего детства, которое, как мне кажется, заключает в себе итог моего понимания сакрального».

## Стр.96

*«Сообщением», ощущаемым как нагота...*

Эта фраза задает смысл присоединенным к заметкам о сакральном текстам.

### **Стр.107**

*Пожар в церкви.*

В Мадриде прошел слух, что детям намеренно дали отравленные конфеты, после чего 3 мая 1936 года в рабочем квартале Кватро Каминос вспыхнул мятеж, в ходе которого толпа подожгла церковь.

### **Стр.109**

*Городские окраины...*

Это стихотворение было написано после путешествия в Каталонию и Барселону в октябре 1936 года.

### **Стр.111**

*«плуг и лемех вести по костям мертвецов».*

Это одна из «Притчей ада» Уильяма Блейка, которую Лаура впервые прочитала в Испании в переводе Гролло («Бракосочетание неба и ада»).

### **Стр.112**

*Коррида.*

Фрагмент неотправленного письма, написанного в сентябре 1937 года. Очевидно, это было в Барселоне в 1936, когда Лаура впервые увидела корриду, зрелище, которое она страстно полюбила.

### **Стр.113**

*ЛАУРА*

Этот текст был написан во время пребывания в Мадриде в мае 1936 года. Последующие фрагменты, очевидно, написаны позже.



*Продолжить уже в иной форме ретроспективного дневника.*

Следующий фрагмент, очевидно, единственное, что осталось от *уничтоженного* дневника (не совпадающего с автобиографией «История девочки», на которую он намекает:

«Я бросалась в кровать, как бросаются в море. Чувственность словно отделялась от моего существа, я выдумала ад, край, в котором все было не так, как в реальности. Никто не мог ко мне приблизиться, меня искать, найти. На следующий день этот мужчина говорил мне: «Ну что ты себе места не находишь, дорогая, ты продукт разложившегося общества... лакомый кусочек, в этом твоя роль, так и знай. Играй эту роль до конца и ты послужишь будущему. Ускорив распад общества... Ты сохраняешь дорогую тебе схему, служишь своим идеям, кроме того, с твоей-то порочностью – не так много женщин любят, чтобы избивали до потери чувств – ты могла бы заработать много денег, ты знаешь это?» Однажды ночью я сбежала. Дошла до края, достигла в своем роде совершенства. В два ночи бродила по Берлину, у Центрального рынка, в еврейском квартале, затем, на рассвете, уселась на скамейке в зоологическом саду. Ко мне подошли два человека и спросили, который час. Я долго их разглядывала, прежде чем ответить, что у меня нет часов. Они подошли ближе как-то странно глядя на меня, затем один из них сделал знак своему компаньону, посмотрев в сторону. Я тоже повернула голову: в ста метрах от нас стоял полицейский; наверное, они собирались вырвать у меня сумочку или что-то в этом роде. До чего мне это было безразлично, и как бы мне хотелось с ними просто поболтать. Ведь в конечном итоге, что получается: ты в полном смятении, ходишь по улицам в водовороте толпы, которая несет тебя как щепку по волнам, думаешь о самоубийстве, но у тебя в

руках сумочка и ты замечаешь, что чулок порвался. Пара минут... и они ушли, почти сразу же подошел полицейский и стал меня расспрашивать. Что я тут делаю? Дышу воздухом. Вам что, негде жить? Да нет. Где вы живете? Я назвала адрес, в весьма «богатом буржуазном» квартале. Он онемел. Потом снова заговорил: «Что я здесь делаю? Дышу воздухом. Мои документы? Разве, чтобы подышать воздухом, нужен паспорт? Потом я снова заснула».

В 1928 г. Лаура провела несколько месяцев в Берлине.

## Стр.128

*Пора признать, что религия преступления нас отравляет точно так же, как и религия добродетели.*

Та же мысль встречается и в других заметках. В такой, например, форме:

«Религия Зла, нуждающегося в Добре. Зло (преступление), которое рядится в одежды добра, наряжается в различные добродетели самой добродетели».

Эта же идея повторяется в одном неотправленном письме, написанном в 1937 году, в сопровождении нескольких фраз, которые подчеркивают всю остроту этой проблемы для Лауры.

«Что может быть комичнее или гнуснее: преступление, которое рядится в добродетели невинности, или невинность, которая рядится в добродетели преступления?»

Почему, когда я иду в своей мысли до самого конца, у меня постоянно возникает ощущение, что я предаю то, что люблю больше всего на свете, предаю саму себя, причем этого предательства никак нельзя «избежать». Если вы чувствуете всю пережитую и будущую тревогу, которую несет в себе это *почему*, вы постараетесь ответить, но нет никакого ответа. Самое опасное противоречие мы носим в себе».

## Стр.130

*Все, что зависит лишь от нерушимой цельности.*

Этот и последующие тексты написаны чуть раньше или чуть позже 13 марта 1938 года, того дня, когда болезнь Лауры перешла в решающую стадию.

Она писала друзьям из санатория, где провела два месяца:

«...Знайте же: я ненавижу жалость и – *даже сейчас* – я не испытываю никакой потребности в жалости и *даже сейчас* я не завидую никому на свете.

Я завидую, быть может, только одному, некоему *состоянию*, это здоровье. – Это так – И еще! Мой недуг так глубоко связан с моей жизнью, что его нельзя отделить от всего того, что я пережила. В чем дело? Возможно это опять одна из неудач, которые превращаются в удачу: позже вы поймете, что я хочу этим сказать...»

## Стр.132

*«...он мой товарищ по игре...»*

Цитата из Рамакришны: этот текст фигурирует в книге Романа Роллана «Жизнь Рамакришны»; «он» обозначает Бога.

## Стр.134

### *ПОСЛЕДНЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ*

Это стихотворение было написано Лаурой незадолго до ее смерти.

В книге о Терезе Авильской, которая была у Лауры, на странице 199 был загнут уголок, явно в силу того интереса, который вызвал у нее этот отрывок из «Сочинений» кармелита Иеронима Грасиана: «При жизни Матери Терезы у нее, равно как и у меня, и в

мыслях не было, что эти книги могут быть напечатаны и доступны всем, кто желает их прочесть. Нам хотелось бы, чтобы эти книги остались в наших монастырях в рукописном виде, с тем, чтобы их читали только мудрые и сведущие в деле молитвы люди. Я доброжелательно отношусь к пифагорову правилу, которое предписывает скрывать все, что есть сокровенного и сакрального...»

Лаура часто выражала озабоченность подобного рода – с которой явно была связана ее тревога – и в обычных разговорах. Перед смертью она определенно выразила желание, чтобы ее свидетельство было передано другим людям, утверждая, что нельзя замыкаться в себе, что смысл имеет только то, что существует для других. Но ей всегда внушала ужас ничтожность, присущая всему литературному – ее высшей заботой было не допустить, чтобы то, что ей казалось жгучим и мучительным, попало в руки неспособных на душевные муки людей.

## ЛАУРА ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ

На войну и в рабство зовет одна сирена.

В душающей, суматошной, пыльной и тошнотворной атмосфере завода, я видела, что они прикованы цепями, как на каботорге. Могут ли эти женщины мечтать о побеге? Они и думать об этом перестали. Они так и живут – без света, без воли. Шесть часов, скорей домой, будем гнуть спину по хозяйству. И в силу странной мимикрии, уподобления человека человеческому уделу, уделу пролетария, они вернутся назавтра того же цвета, что и сегодня – цвета грязи и пыли. На разгрузочном причале – цвета кирпича и угля: любопытное зрелище для иных представителей рода человеческого, чье легкомыслие, презрение и надменность обеспечены шармом, грацией, щедро оплаченной красотой и всем «ансамблем» в гармоничном сочетании с мастью собачек. Легкомыслие и презрение? Даже не это. Существует два мира (они не пересекаются и знают друг о друге благодаря фальшивым картинкам), редко кто в одном из них действительно осознает повседневную реальность другого. Есть жизнь. Есть место обитания для одних и для других, и распорядок времени, и то, что они любят в каждом существовании. Есть жизни, которые не знают времени: рассвет отчаявшихся, ожидание безработных... лишние люди, ими владеет лихорадка, она и дает им понять, что происходит, и эта «невыносимость», в которую погружена их жизнь, хватает их за горло, требует ответа.

Тогда удивляет, почему так редко, далеко не каждый день что-то случается; ну да, такие вот вспышки гнева, прямо в Париже, на Королевской улице, Елисейских Полях. Но нет, страх перед завтрашним днем уничтожает сам этот день. Итак, полжизни – это лишь болезнь, тревога или же скупой досуг, ожидание. И есть еще те, кто до

такой степени приспособился к конторской жизни, куда более лихорадочной, чем домашняя жизнь, что они и не думают протестовать, они разделяют интересы патрона. Все дело в этой ЛИХОРАДКЕ, проникаешься надеждой, что гнев затаился в рабочих кварталах, урывается там, чтобы набрать силу, излиться во всеоружии.

Но вскоре небо надежды затягивает облаками. Это час пустынных серых улиц, когда водители автобусов, измученные за день, злобные и раздражительные, пронзают авеню, и те раздвигаются в своей наготе, как ноги женщины. Они проносятся смерчем по мостовым, им так осточертело перевозить с места на место этот передвижной вольер, что без умолку трещит, пищит, важничает и пялит глаза. Я ухожу, проникшись их идеями, которые, как хмурое небо, нависают над жизнью.

Что такое недоказуемое убеждение? Достоверность, которой нет места в реальности? Солидарность на словах? Червь сомнения гложет сердце. Быть в такой дали ото всех, каждого и самой себя, хотя я так ко всем привязана! К ним я все время возвращаюсь в своих мыслях. Это так же невыносимо, как возвращение в туманный Париж после двухнедельного отдыха на море. Словно у меня украли мое я. Что-то такое давит и давит. Мостовые пусты. Они сидят по домам, эти толстопузые и прижимистые термиты, забились в свои норы, очаги, в которых днем с огнем не сыскать огня. Их видишь в окне под зеленым абажуром с бахромой из бисера, под люстрой из золоченого дерева. Они так живут, строят или расстраивают свою семейную жизнь, жены или любовницы только и делают, что вытирают пыль, кумекают, считают. Откуда идет это недоумие? Почему так выходит, что дела ваши *нас всецело не трогают?* Наши собственные утверждения оборачиваются против нас самих. Все мимо цели. Мысли чинят препятствия делам, все стоит на месте, загнано в угол. Мысли? Да, нет: факты, история, люди, исковерканный язык. Так что же – мыслить все равно что играть в

домино? Но ведь за бумагу не зацепишься, как цепляется утопающий за соломинку: лист гладкий-гладкий, вся добрая воля ускользает угрем между пальцами. Бумага что тесто, клейстер с растоптанными вдрызг словами. Я принимаю вашу программу, я не согласен и выхожу – только слова. Вместе с тем – вся жизнь, и из нее вам не выйти, не партия. Итак доводите всякую мысль до конца, более того, принимайте все ее следствия! Что-то вы снизили голос, как будто в доме покойника. Какая мне разница, где я, если я знаю, куда иду. Очень может быть, что скоро настанет такое время, когда достаточно будет знать, против кого ты. Будь я работницей или даже мидинеткой, мне не было бы дела до конечных целей нашей *деятельности*. Я боролась за хлеб насущный, за завтрашний день, боролась против всех этих «ветрениц», живущих как в сказке.

Я не знала, что история повторяется, что вожди – просто импотенты, которые прикрываются преступной фразеологией: «наши славные рабочие-мученики», и в голову не берут, что есть какие-то цели, кроме отправной точки.

Только потому, что тех, кому каждой копейкой приходится отстаивать свое право на жизнь, спасать это жалкое право на жизнь муравья, считают тысячами, и существует рабочее движение, заключающее в себе защиту и ненависть, страх и предупреждение.

Ценность жизни заключается лишь в сопротивлении и бунте, каковые надлежит выражать со всей энергией отчаяния. Само это отчаяние представляет собой великую любовь к жизни, истинным человеческим ценностям, неизмеримым природным силам, ко всему, чем действительно жив человек.

О ценности чего бы то ни было можно судить лишь в связи с рабочим классом, с усилиями по его освобождению. Все крутится вокруг этого вопроса, «это стержень». Нам прекрасно известно, какая гроза нависла над этим классом. Известно нам и то, сколь

ограниченные горизонты открывает этот класс человеческому духу и сердцу. Нам надлежит материализовать, конкретизировать свою солидарность с этим классом в каждодневной борьбе. Внутри нас самих мы находим те же препоны, те же препятствия, с которыми этот класс сталкивается в своем материальном существовании.

Эти люди разрываюся между гордостью и нищетой. Желая отделаться от «прогнившего» мира, они создают собственный космос, образованный из особых привычек, которые в общем быстро прививаются, подхватываются; мир, где люди понимают друг друга с помощью особых слов, паролей.

Кто мы? Пленники породившего нас мира? Пленники, что скопом бегут из своих стеклянных тюрем? Жалкие потуги. Жизнь уныла и скучна уже потому, что мы ощущаем ее ничтожной. Сделки с собственными неудачами.

Точка опоры: любовь. Любимое существо – островок спасения.

Все так, но мы знаем, что так называемые пленники в реальности смотрятся в выпуклые или вогнутые зеркала и ни разу в жизни не склонялись над чистой водой лесного ручья. Против природы не попрешь.



Различные тона, различные мотивы. Жизнь, задуманная как симфония, как fuga. – Прожить ее.

Выразить, что ее что-то несет: неопровержимое доказательство, подтверждение.

Что если Ницше больше сделал для освобождения человека, чем Ленин?

Человек богатый или бедный выстраивает свое собственное величие в сердце, свою способность сопротивляться тому, что существует, не соглашаться с той жизнью, какой ее хотят сделать: загаженной и испорченной миллионами людей. Существовать не *вместе*, а *против*.

Это не отменяет радость, напротив ее усиливает, это не отчаяние, а безмерная надежда.

# ЗАМЕТКИ О РЕВОЛЮЦИИ И КРАСНЫЙ ДНЕВНИК

## Замечания

Чтобы заметить, что поставленная цель была лишь этапом  
что искомая опора всего лишь трамплин, с которого  
нельзя устремиться к действию, но с которого мысль, запрещающая  
действие, должна приобрести новый размах

мысль имеет запрещенные ограничения

«что пролетариат сам должен взять в руки свою судьбу»  
действие останавливается мыслью

Скачок действие «что

победа пролетариата какой-то страны – победа  
и для французов»

Жесты: бесполезный «героизм», изживает себя, обретает  
больше идеализма.

Одни идут, чтобы потерять себя, другие, чтобы найти. Воз-  
величивание индивида. Это не рациональное Выравнивание – мар-  
ксистская Мысль в пользу сообщества  
регресс

Наши возможности. Наши перспективы.

2-й и 3-й Интернационал.

Эпоха, когда слова имели смысл, скрытый за этими слова-  
ми смысл реальности «Идти в народ».

Утопический социализм

научный –

## Призыв, прочитанный в газете «Правда»

Нужно, чтобы она забыла [ ] наша молодежь – ей не следует знать подобные примеры. Точно так же, как в индивидуальной психологии, если человек намечает себе линию поведения, от него исходит нечто иное, совершенно иного качества. Он не может отрицать себя самого. Организм его более «сложен» более «двойственен» более «трагичен», чем ему хотелось бы –

Намеченная линия извивается кривой его сомнений его колебаний его ограничений не говоря уже об оплошностях ошибочных действий. Точно так же, пресса – это пульс страны. «Правда» выдала громадное признание –

Со всех сторон

Во всех аспектах все, что могут содержать в себе слова присоединения или выхода

Какой уверенностью это было – не предаться смутным надеждам. Человек поддается той части себя самого, которая может его уничтожить как общественное существо столь же уверенно, как негодный грунт уничтожает пшеницу, насколько это верно, что *человеческое существо* и означает *общественное*.

В своих мемуарах Вера Фигнер говорит под конец: «Теперь я боролась только ради чести».

Сколько раз мы это уже слышали – Мы боремся, потому что нельзя *не бороться*

Желябов сомневался – встает вопрос: он что, вне всяких подозрений?

\* Желябов: русский революционер эпохи «нигилизма». (В рукописи это примечание написано кириллицей).

он действовал, потому что не мог позволить другим умереть без него? рациональное – иррациональное.

Совершенно ошибочная интерпретация.

То, что Т. [Троцкий] представляет как победу соц.[иалистического] сектора над частным, никакой победой не является, поскольку она достигнута «силой», а не естественным превосходством одной системы над другой – превосходством качественным, количественным – Если частные предприятия систематически закрывают, говорит ли это в пользу «коллективизированного» сектора? – Это ничего не доказывает –

Троцкий называл это государственным социализмом  
Ленин государственным капитализмом  
и что *социалистического* в такой смешанной экономике?

Ко второй годовщине ремесленное, то есть частное производство составляло 1/3 от общего производства – (громкая пропорция – Голая Россия)

Невозможно быть диктатором или главой правительства, не испытывая полного презрения к людям.

Какой-нибудь Лаваль: [избиратели поддерживали его в наихудших противоречиях политической линии]

Рассказ о коллективизации в России. Арестовывают крестьянина, забирают у него все, он молчит.

Жена с младенцем на руках кричит, голосит, в навозе находят угаенное зерно, он даже не шелохнулся. Наконец, несмотря на все мольбы жены, уводят единственную корову – Тогда крестьянин хватает ребенка и разбивает ему голову о стену. Милиционер убивают отца, мать бросается на них, и ее тоже убивают.

По своей предельной логике и ужасающей простоте этот рассказ встает в один ряд с новеллами Бабеля.

Как можно делать вид, что не знаешь, что все так и было. – Начальник ГПУ Украины, говорит о 8 миллионах жертв коллективизации. Б. это все глубоко понимает – возможно, такие факты человечески возможны

[Церетели за Федеративную Республику Грузия

Жордания за автономную Республику. Как Ж. говорит о народе. – Его надежды в «народе» – «Буржуазия» ничего не сделает или же все придет от народа.]

Обречены ли мы быть эмигрантами, которые приспосабливаются к новому положению.

Все за счет пролетариата

Он расплачивается за просчеты тактики или полного отсутствия тактики. Вожди могут уйти.

Рабочие партии довольствуются фразеологией. «Наши героические мученики» опыт Коммуны

затем Венской Коммуны

вырезки из газет

дисциплина сулит большее

дисциплина рабочей толпы, которая борется за хлеб насущный – закулисная механика молодых буржуа, вступивших в бригады.

По части тактики ни одного свидетельства, которое можно было бы подхватить. Одни лишь фразы, которые, не играй они на жизни и смерти героических людей, словно написаны по самым дурным шаблонам.

Да, Жанна. Это я вам пишу. Удивительно, не так ли? Не хмурьте ваши брови и не стройте недоверчивую мину. Просто выслушайте меня. Несмотря на все «сопротивление» и все «недоверие», которое я ощущаю между мной и вами и которое, может, не так уж неустрашимо, как мы обе думаем, я поистине не могу сдержаться и не поговорить с вами о том, о чем так часто думаю: Испании, о событиях в ней.

(Ваша матушка вам, может, говорила, что сообщение об избрании Кине для всех здесь было радостным переживанием. От всей души желаю, чтобы все шло на лад).

Что бы ни говорил интегральный пессимизм, поражения нельзя назвать всемирными, мир не готов еще к жестокому обращению. Какими бы тяжкими ни были ошибки, которые довлеют над Ларго К', из его статей, из его головы нельзя вычеркнуть социализм в Испании. Почему? Из-за мощной волны снизу, которая действует как природная сила, и эта сила действует в сторону бунта угнетенных. Я там, но только мыслями своими... в Испании, где как раз есть люди, которые и не приобщены и не покрыты глянцем мнимой цивилизации, от которой здесь меня тошнит.

И это не какое-нибудь мимолетное впечатление, которое сотрется, не оставив следа, там есть то, что мне полюбилось в России. Это человеческое братство, очень простое, очень спонтанное.

В отличие от Бориса, понимаете ли, я ненавижу чувство беспокойства, порождаемое тем, что не выражено. Так вот, каковы бы ни были наши взаимные позиции по отношению к друг другу, я думаю и я уверена, что мы можем встретиться, не напуская на себя этот воинственный вид, который выражает то, что умалчивают слова и не горюдя никаких бесполезных аргументов, а со всей простотой и чистосердечием. Я никогда не соглашусь, что невозможно высказывать самые противоречивые мнения и занимать прямо противоположные позиции по отношению к людям и вещам.

Так, например, вам не нравится, что испанскому народу не хватает «цивилизации», а меня именно это в нем и привлекает.

Когда внутри тебя есть прочное убеждение, его уже не остановишь, как не остановишь кровь в своих жилах. Если ты отчаялся, нужно самоустраниться, но если ты живешь, нужно действовать... в ритме своего дыхания, иначе история остановит свой ход. Предаваясь отчаянию, теряешь контакт с суровой реальностью и будешь, наверное, пытаться реализовать все то, что есть в тебе разложившегося, подобного [ ], чьими продуктами мы и являемся (по выбору).

Невозможно цепляться за Прошлое, Архивы, Статьи. Борис первый, кто понимает мои геростратовы побуждения, когда я в шутку заявляю, что надо бы «сжечь библиотеку». Хотя на самом деле это всего лишь означает, что ему горько и печально оттого, что он потерял контакт с реальной жизнью, активистами и трудящимися.

Уверяю вас, что жизнь «меняется», когда в голове не сидит постоянно это «ничего нельзя поделать» или «цель будет хуже, чем точка отправления». Я думаю, что ценность жизни в современном обществе может заключаться только в духе сопротивления и протеста и в активном выражении сопротивления и протеста.

Я могу также думать, что нужно пересмотреть весь словарь социализма, что со времен русской революции мы пользуемся языком полным противоречий и призрачных выражений, но нельзя ли представить автономный опыт, избавленный от нашего русско-советского пессимизма. Не позволяют ли занять такую позицию условия в Испании? И потом, там есть целая сокровищница человеческих ресурсов, энергичных, спонтанных.

Можно смело утверждать, что интегральный пессимизм не находит места в Испании и что мир не готов еще к жестокому обращению. Нужно отметить также, что наши левые, несмотря на всю

\* Ларго Кабальеро, премьер-министр испанской Республики в 1936 г.

посредственность и политиканство людей, которые не справляются со своей задачей, бесспорно держатся на ногах, по сравнению с правыми, которые после покушения на Блюма, грандиозной манифестации и речи Сарро опустили голову, похоже, пали духом и охвачены страхом.

Это всего лишь текущие впечатления, но их можно расценивать как «знак». Мы вынуждены сказать себе, что не будь этих левых (хотя есть тысяча причин их ненавидеть) фашизм прошел бы здесь, как и в других странах. Не так ли?

Итак?

Распроститься с позицией отчаяния. Я живу, значит я надеюсь – остальное игра ума. Это жизненный поток, кровь, что течет в моих жилах, не остановишь; жизнь хочет найти выражение, действовать; чтобы выразить себя, чтобы любить, нужно уметь ненавидеть. Инстинкты насилия и самозащиты вступают в свои права – Бывают моменты, когда, чтобы жить, чтобы надеяться, нужно уметь УБИВАТЬ, учиться [ ]

Старые бумаги и история, мне на них плевать [все это может] отлично гореть.

Эту жизнь, ее можно уничтожить

или замарать

Все права

я их имею

ими пользуюсь

Целое поколение, занятое только прошлым под предлогом чистоты – под предлогом, что настоящее это позор.

В момент выборов, когда фасад здания [ ] был полностью затянут гигантским плакатом с изображением Жиля Роблеса, толпа подходила, ругалась, плевалась и повторяла: «У! У! большой и страшный серый волк» на мотив «Трех поросят». Можно сказать, что здесь, что в России: какое чудесное детство.



Случайно я оказалась на коммунистической демонстрации: возвращение беженцев из России (!) (Никто уже не знает, что это такое!) Более часа главные улицы были заполнены народом или, скорее, длинной движущейся колонной, нарушающей все уличное движение. Какой-то женский комитет высоко поднимал знамя, вышитое, как риза, которое несли две беременные женщины.

Многие женщины голосовали не за левых, а за кузена, племянника или крестника, находящегося в тюрьме. Когда их расспрашивали, они отвечали: «нет, я голосовала не за 129 А, я голосовала за Пабло (или какое другое имя из членов семьи). Сразу же после выборов они толпой побежали в тюрьму [которую здесь называют *carcel del abanico* так как она построена в форме веера], веря в незамедлительное, чудесное открытие дверей.

Я поистине много ждала от № о Ницше – я хочу сказать: многих разъяснений – Не лучше ли мне не пытаться следовать за ним *в его мысли*

Намного больше поэтическое выражение – Мысль как сила.

Никакой игры внутри, я даже думаю: никакой логической системы – Множество парадоксов, которые разрушают, отрицают, убивают друг друга, но блестящее утверждение человека, который один высится над миром –

Для меня: никогда не сомневаться в своем собственном порыве: в том, что меня притягивает или отталкивает, когда мне отказывает умственное суждение.

Ужасно необходимо прочесть всего Ницше и разобраться в нем самой: без чьей-либо помощи, то есть без всякого предвзятого или готового мнения.

\* Веерная тюрьма (*исп.*)

## Цитаты

«Критика религии – первейшее условия всякой критики».

«Человек, который в фантастической реальности неба, где он искал сверхчеловека, не нашел ничего, кроме собственного отражения, и не будет больше стремиться найти что-либо, кроме своей видимости, сверхчеловек, там, где он ищет, вынужден искать *свою истинную реальность*».

«На самом деле религия – это сознание и самоощущение человека, который или еще не нашел себя, или уже снова себя потерял».

«...Это Государство, это Общество производят религию, ложное сознание мира, потому что они сами учреждают ложный мир».

· «Религия – всеобщая теория этого мира... его логика в популярной форме, его спиритуалистический вопрос чести...

«Это фантастическая реализация человеческой сущности, потому что человеческая сущность не имеет истинной реальности».

«Она дух бездуховной эпохи».

## Вопросы

Человек: он входит через маленькую низкую дверцу, проходит по ступенькам и оказывается в зале. Он свободен от всех пут.

затем он высовывает гладкое, словно очищенное лицо и выходит через другую дверь, на другую улицу, идет на коммунистическое собрание – будет говорить

он, который только что покупал женщин, участвовал в чувовищной и низкой [комедии] вот так, открыто, с совершеннейшим презрением. Что в нем пробудило идеи – любовь или ненависть? Как люди, уважающие права человека – уважающие пролетариев, могут видеть в проститутке инструмент своего наслаждения? Они не видят в женщине человеческое существо, откуда-то взявшееся? кем-то или чем-то угнетаемое, чтобы дойти до такого?

Перед ними механический эротическо-любовный инструмент (Рембо?)

Эротизм как бездна для отчаяния, но совершенно не совместимый с деятельной, стойкой жизнью. Играть в самые худшие игры человеческого распада.

Выйти из игры.

Жить перед лицом своей внутренней борьбы.

Форма самоубийства

Прожить все  
= уничтожить себя

## Красная тетрадь

*Записано в красной записной книжке  
в 1938 г., когда Лаура уже не  
вставала с постели*

Стать недоступной не прийти на свидание и устроить так, чтобы встретиться с ним только спустя два дня в присутствии кого-нибудь из друзей, чтобы другие стали свидетелями – его смущения  
То, что она живет одна, ничего не значит  
ей нужно это показать, тотчас показать самым вульгарным особенно самым вульгарным

– Обрести жизнь в полноте  
в цельности

– Скука, что сваливается промеж двух людей  
пейзажи

– Моральная инстанция  
настойчивость собственного «Я»

– бегство матадора

– Мыслить свою жизнь значит ее РАЗРУШАТЬ – делать ее стерильной

– Почему двум человеческим существам нужно жить вместе?  
потому что они нуждаются друг в друге всем своим существом

– деньги

подарок

сексуальность

Вступить в мир *вымысла*, где ты будешь играть передо мной какую-то роль

в котором ты назначишь мне какую-то роль определенное место

– жизнь отшельника пока не наступит то, что есть обмен и дружеский

ты переживешь его в Париже вот уж нет

– что-то

выходит из берегов

шлюзы

трещат

боль

*нет большие боли*

*Возрождение жизни*

– Больше ничего

и эта пламенная страсть

и это ужасное беспокойство

и он

Нет = ничего

боль

нет боли

неподвижность

молчание все твоё тело

Молчание Нет больше боли

всего

в тебе

А затем в какой-то день ДВИЖЕНИЕ  
ограниченное

а потом

свободное

Физическая жизнь

тело словно

растение

растение

земля

Как если бы оно укоренялось в земле  
посредством

движения

обретающего

силу тяготения

тела лишённые всех физических законов

всех впечатлений

эта вода

она

кипящая или

ледяная

Что вам сказать?

ни крика боли

Налейте кипящей воды, а затем положите

лед

я больше не чувствую

ничего ничего

вонзите в плоть иголки

– где моя нога?

может сидит на ветвях

этого дерева –

– там

где голуби

любят друг друга

---

твое тело это

твой Закон

все приходит ПОСЛЕ

Нет ничего более *радостного*, чем это возрождение

в твоём теле

более *важного*

более *значительного*  
чем все остальное

Вы не представляете какой радостью  
и  
довольно  
злойной  
это может быть для меня  
в прежние времена = все мосты  
отрезаны = что они могут в ней понять  
в моей жизни, те, которые делают вид, что  
причастны ко всем заговорам  
проникают в глубинные детали  
непристойно смеются как на гулянье  
водевили  
непристойный смех и  
*сдержанный*

**ЛАУРА**  
**Письма Жоржу Батаю**  
**1934-1938**

*Среда, 4 [июля] 1934*

Похоже на то, Жорж Батай, что мы идем от «совпадения» к «совпадению» –

У меня нет никакого желания говорить о главном  
я только хочу сказать вам, что пока я *надеюсь*, мои призраки рассеются.

Совершенно излишне вам *все это говорить* – мне кажется, вы можете об этом догадаться –

Во всяком случае я не собираюсь оставаться с этим ощущением бегства –

Впрочем, это было и не бегство

Поскольку я встретила вас в 7 часов 27, и друг, который вас сопровождал, пристально на меня смотрел, меня в упор не видя – (Можно подумать, что у меня было «кольцо, которое делает невидимым», как в детстве)

Потом вы встали, прошли в пяти шагах от меня –

Все это не имеет большого значения. Только меня неприятно удивило, что для нас могло бы быть что-то возможное в «откровенном» духе. Впрочем, тем лучше для вас – Только, видите ли, это довольно гнусно. Не буду тратить свое время на то, чтобы объяснять, почему, так как я считаю, что все, чем вы живете в «узком кругу», всегда будет лишь темой для разговоров – Принимайте это за «позу», если хотите! А я, я желаю, и мне *необходимо* оставаться незаметной и молчать.

*Коlette*



[июль] 1934

Если вы хотите мне написать – пишите в Нимли, мне перешлют –

В моем желании, чтобы все стало просто и спокойно, я замечаю, что мне лучше написать вам длинное письмо –

Желаю вам приятного отдыха и себе тоже –

В этом нет никаких намеков.

Не верьте в категоричное презрение с моей стороны что касается «узкого круга» -

С этой стороны я испытываю самую искреннюю дружбу и истинную солидарность –

*Колеетт*

Я попытаюсь объясниться, но мне следовало бы начать с вечера вторника (когда я вас покинула), а этого я не могу – Я вновь увидела вас, не в силах вам позвонить, я взяла телефон, не в силах говорить – Вы меня больше не покидали. И только мысль о возможном и несчастном случае по дороге освободила меня от невыносимой тоски, которой были вы. Идея смерти, когда ей следуешь до конца... до полного разложения, всегда давала мне освобождение, в тот день как никогда ранее – Я рассматривала во всех деталях различные формы «несчастливого случая», и все мне казались желанными и восхитительными. Мне становилось покойно и даже весело, но во мне поднималась какая-то дурная радость против вас – я теперь уже не понимаю, почему –

До сегодняшнего дня я была в силах сжечь за собой все мосты, так, чтобы никто из знавших меня людей не мог меня больше знать –

А теперь я понимала: что бы я ни сделала, вы всегда будете здесь – всегда сможете меня отыскать – вы были как то око, преследовавшее уже не помню кого в одном «стихотворении» (!)

Поэтому я думала, что, утопая, звала на помощь не только паралитика, но кого-то, кто при необходимости будет бить меня по голове, чтобы я не могла вынырнуть и пошла ко дну – Я думала обо всем этом, а потом почувствовала необходимость написать вам эту фразу о «теме для разговоров», которая является для меня наилучшим «ругательством» в ваш адрес – Мне нужно было выдумать причины не доверять вам. Не верить вам – сомневаться в вашей любви – может даже «поиздеваться» (до чего это глупо) письмо из Люра я послала, будучи в этом умонастроении, а потом меня снова охватило безумное беспокойство... этого свойства: я задыхалась от необходимости, чтобы вы существовали – Ощущение, что без вас я

пропадаю или, скорее, что я предпочту все, что угодно, мысли о том, что я вас теряю... и может даже отдаляюсь от вас. Мне нужно было, чтобы вы знали это прямо сейчас, я хотела послать вам телеграмму – но что сказать! – «Граница» была мне невыносима, тогда я позвонила, а потом я совершенно успокоилась, потому что шла навстречу вашему письму – Это все, что я могу сказать –

Меня ужасно раздражала живописная и даже самая обыкновенная природа, я мечтала о картинах пожарища, затем ваши слова примирили меня с тем, что есть красивого и хорошего в жизни.

Я закругляюсь, так ничего вам и не сказав.

но это ничего.

Главное, ничего обо мне не выдумывайте – я очень несчастна и безоружна – а главное не страдайте – Мне бы очень хотелось, чтобы этих чрезмерных шатаний (ненавижу это слово, но не могу найти никакого другого) не было ни у вас, ни у меня – нам прекрасно известно, чего они стоят и в чем тут дело –

Мне хотелось бы, чтобы осталось только это полное доверие друг к другу.

*Колетт*

Какая разница, что вы уезжаете в Испанию, а я в Австрии.

Что от меня идет к вам, никоим образом не сможет обрести какую-то форму, ни получить какое-то название, ни стать чем-то обычным –

Нужно только давать знать о себе

Мой адрес прежний: – Австрия, Эц, до востребования,

Мне стыдно за вид своих писем, но трудности, с которыми я сталкиваюсь, чтобы у меня одновременно было все: спокойствие, бумага, ручка, карандаш, можно буквально назвать *дьявольскими* – Один сон: чтобы вас посмешить. Я была с тремя девушками, блондинками, одна из них была особенно красива, они помогали мне «убежать» (?) мы замыслили я уже не знаю, что, но они исчезли, а я оказалась сидящей рядом с негром – но не из тех, что навевают мысль о добрых дикарях и злых европейцах, с негром в красной куртке, испорченным цивилизацией, типа швейцара на Монмартре – Я была очень сердита, что дала убежать блондинке, с выющимися волосами, «надменной» – моя робость, чтобы избежать насмешек – и я ничего не понимала с негром – но потом, напротив, мне с ним было очень хорошо –

Не знаю, почему я говорю, что это, чтобы «посмешить», сон этот был очень мучительный –

До свидания

*Колетт*

Вы спросили меня, не было ли то сомнение, что влекло меня в другую сторону

Нет – я замечаю, что когда я *самневаюсь*, я еще существую, но как только я прихожу в отчаяние, все что было мне ненавистно, становится желанным, заманчивым... Я, наверное, даже способна очень сильно постараться, чтобы восстановить что-то, что я нака-

нуне в исступлении разрушу, и наоборот – и я думаю, что это приемлемо для любой *реализации* и в любой последовательности идей. Это-то меня и ужасает – я только вам могу все это сказать – может, позднее вы сможете примирить меня с самой собой, причем так, чтобы не надо было меня чего-то лишать – (я хотела сказать кастрировать, но потом мне стало стыдно – а я не хочу, чтобы мне перед вами было стыдно!)

Я совершенно не знаю, куда я иду, ни куда меня все это приведет, я здесь живу в состоянии какой-то передышки. Надеюсь вскоре получить от вас весточку, а в ожидании мне очень помогает то, что вы мне написали.

*Эц, Австрия, вторник 10 июля 1934*

Я очень беспокоюсь при мысли, что мое длинное письмо придет к вам только завтра, может, послезавтра. Вчера вечером я получила сразу два ваших письма, дело в том, что я сейчас в деревне, высоко в горах, куда почта приходит через день – Жорж, не мучайте себя – Единственное совпадение, которое отныне может между нами случиться, это обмен мужеством... даже радостью, очень простой, я уверяю вас. Почему нельзя подумать, что я одна была *виновата* в самой что ни есть вульгарной интерпретации – и потом, даже в том, что касается «литературы», я тоже могу оказаться пойманной вами «за руку». Я ничуть не лучше других, это не разговор. Никогда больше не говорите, что вы не достойны моего доверия, а главное, не думайте так, ибо тогда мне становиться за себя стыдно, потому что мне отлично известны мои гнусные мелкие подлости и слабости, и что все мы можем в чем-то друг друга превосходить. Не нужно так пытаться, так подозревать ни себя, ни других. Из-за желания быть честными (вы понимаете, что я хочу сказать) и набрасываться на все, что нам кажется в нас подозрительным, чтобы себя задушить, мы причиняем себе непоправимое зло. А мне так нужна ваша сила, ваше спокойствие.

Очень жаль (после того, что между нами случилось), что у нас не было побольше времени, чтобы объясниться. Например: мне нужно было бы знать вашу книгу, а вам «некоторые обстоятельства» моей жизни и «мой дневник». Уже примерно месяц вы не представляете всего того «сюрреалистического», что может происходить со мной каждый день, да еще по какой-то глупой случайности – но я на этом не задерживаюсь – я не *желала* себе признаваться в том, что вы мне бесконечно дороги, и главное, признаться в этом вам – Я хваталась за что угодно, чтобы причинить вам боль, по-идиотски. Я тоже вполне могла бы сидеть в каком-нибудь кафе, погрузиться в шум и скучные разговоры – я не вижу в этом смертного греха – передо мной всегда нужно оставаться спокойным, никогда не терять способность во мне сомневаться и

следить за тем, что я говорю, с точки зрения здравого смысла, то есть этого полного доверия между нами, о котором я вам говорила.

Не устояла перед желанием послать вам «открытку» с видом того места, где я нахожусь. Я живу немного выше в горах и каждый день спускаюсь к этому восхитительному озеру, где можно купаться и кататься на лодке. К тому же этот дом весь из сосны и в нем очень приятный запах, ослепительная свежесть и чистота. Интересно, почему на перегородке (на сосновой перегородке, где отчетливо видны все формы дерева) есть эта надпись крупными буквами:

«Streut blumet der Liebe zur Lebenszeit und Bewahret einander vor Herzeleid»<sup>\*</sup>

Надеюсь, вы не очень будете надо мной смеяться – говорю это, смеясь от *всего* сердца. Возможно это еще глупее и сентиментальнее, чем я могу себе представить. Мне, может, плохо это перевели.

Мне хотелось бы вот так смеяться рядом с вами, и нам бы было очень просто и радостно, и уверяю вас, что этого не нужно «искать», это и так возможно.

Посему хочу сказать вам следующее: иногда просто с кем-то поговорить приносит большое облегчение. Если вам очень этого хочется, я вас одобряю и не буду держать никакой обиды. Я уверена, что вы это сделаете, зная тех, к кому вы обращаетесь, и, например, Жанин и Раймон не такие уж мне чужие люди.

Если есть какие-нибудь серьезные политические новости, сообщите мне (здесь нет ни одной газеты), интересно, на каком это вы были митинге.

Мне бы хотелось говорить с вами еще и еще.

Пансион Riburgersee – bei Oetz – Австрия

Напишите мне, куда вы едете –

*Колетт*

\* Пышным цветом любовь расцветает в пору жизни и обоих хранит от сердечных страданий.

Эц – (Австрия) – 10 июля 1934

Мне столько нужно вам сказать – у меня просто не получится. Всякий раз, как я вам пишу, я чувствую, что главное остается в стороне. А также впечатление, что я вам никогда *не отвечаю*. В иные моменты мне хотелось бы перечитать ваши письма и ответить строго по пунктам. На днях мне казалось, что наша переписка больше просто не может продолжаться, настолько я ощущала себя бессильной. Мое последнее письмо (я очень смутно его помню, так как с тех пор так часто с вами говорила, что уже не знаю, что написано, а что нет) вполне могло вас рассердить и быть совсем некстати. Но это не имеет значения, то есть, даже если я должна была бы написать что-то такое, что непоправимо опустит меня в ваших глазах, пусть так и будет. Пусть будет все, что *подлинно*, пусть оно найдет свое выражение. К чему вам даже это говорить? Это настолько верно, что и с вашей стороны жизнь не может строиться по-другому. Но главное – следует знать, что все эти «некстати» ровно ничего не значат, потому что в каждом из нас все так зыбко, и мы это прекрасно знаем.

Думаю, это как раз то, что я вам написала вчера вечером, до того как получила ваше письмо, в котором вы говорили об источниках в горах – может, это потому, что я ждала этого письма и получила его, но оно принесло мне чувство радости, освобождения. Я чувствовала, что вы расслабились и действительно стали мне ближе. Однако меня ужасно пугает это «словно нет уже двоих, но одно целое», и вы знаете, в каком смысле меня это пугает. Самым приемлемым было бы обмениваться, а не отождествляться, но я боюсь какого-нибудь неловкого недоразумения со своей стороны, и мне уже хочется порвать это письмо. А еще я думаю, что в каждом человеке есть что-то такое, что в моих глазах *позволяет* ему срывать самые прекрасные цветы –

*Вторник* Я только что прочла ваше длинное письмо, написанное и отправленное с вокзала в воскресенье. Все так



стремительно. Я могу говорить только о сиюминутном = Позавчера, то есть в воскресенье, задремав после обеда на балконе, я проснулась в полной уверенности, что слышу внизу ваш голос, и спросила, не приехали ли сюда французы. Восемь дней назад я чуть было не сказала вам, что сожалею о том, что «что-то произошло», так как в противном случае – Я говорю это, потому что это правда, но это так нелепо. Реальность моей теперешней жизни (о которой я не хочу говорить) заключается. Впрочем, я покидаю (по правде «мы покидаем») Австрию, и переезжаем в Италию. Все мне кажется полным абсурдом. Я вам не отвечаю, потому что не могу –

Когда я ждала вас в один из прошлых дней в Национальной библиотеке, я стояла, облокотившись на витрину, я видела зал сквозь стекло тройной толщины... я думала, что увижу, как вы подходите, и что между нами определенно уже нет ничего, кроме этой стеклянной стены. То, что вы говорите, так же верно относится и ко мне: я хотела с вами встретиться, и когда это происходило случайно, я была просто счастлива. Мне всегда было противно то, что говорят о вас другие, мне казалось, что я вас разгадала по одному вашему поведению, которое мне было понятно в мельчайших нюансах.

Когда я не даю себя увлечь чем-то внешне приятным, погружаюсь вглубь себя со своими мыслями, сомнениями, потребностью все поставить под вопрос, все пересмотреть, когда я дохожу до самой сокровенной глубины, в этот миг вы и оказываетесь рядом со мной.

Вы знаете, прочитав ваше письмо, я с первого раза не поняла в нем самого главного. Но как так получается, что вы настолько хорошо меня знаете, что сами же проясняете то, что изначально заставляет меня хмурить брови или то, что меня беспокоит (но я

\* Вы не можете понять, прошу вас ничего не выдумывать – это я уже не знаю, где я.

употребляю это слово, не вкладывая в него ничего серьезного<sup>1</sup>), например, что касается *религиозной* стороны. Вы идете мне навстречу двумя способами: иной раз я сомневаюсь в своих возражениях, скорее даже в идеях, которые возникают у меня в голове при первом чтении (как правило, это чистые предчувствия, как мне кажется, но они предстают в очень четких, очень резких очертаниях), другой раз я сомневаюсь, что могу постичь и усвоить вашу мысль во всей ее полноте, и я уже от этого страдаю – Если в этот момент я нахожу в ваших строках то, о чем сама не осмеливалась думать, это мне указывает, что я близка к пониманию, к настоящему пониманию, и одновременно рассеивает то, что вы называете «тревогами» (слово, впрочем, очень *верное*). Я перечитала ваше письмо, а главное, я думаю, что вместе с вами, осенью все это станет совершенно ясным.

Я склонна принимать трагически то обстоятельство, что как раз в тот момент, когда нам так необходимо увидеться – я не только уехала, но теперь вы совсем далеко, и я вынуждена отправиться в путешествие, причем едва зная, где я буду останавливаться, и во время которого мне скорее всего будет лучше не писать вам и не получать от вас писем. Я напишу вам до востребования в Фонт-Ромё. Месяц пролетит быстро, с 15 августа я, вероятно, буду во Франции, в Обе, но это не точно – затем в конце августа я буду проездом в Париже – Мне приятно думать, что вы будете с Лоранс. Если вам не трудно, сообщите, как у нее дела. Смотрите, чтобы ее не слишком заносило в Фонт-Ромё. У меня там был неудачный опыт подобного рода. Горы там очень крутые и совершенно дикие – если можете поселиться где-нибудь за пределами Фонт-Ромё, думаю, вам будет очень хорошо. Я так вам этого желаю.

<sup>1</sup> Приписано на полях: «Даже если временами это беспокойство может быть серьезным».

21 июля 1934

*Открытка из Штайнах-ам-Бреннер*

Я буду завтра в Больцано, а послезавтра в Риве – Туда вы можете послать мне весточку – Я только послезавтра буду что-то знать о своих планах (Венеция и т.д.). Рядом со мной здоровье отвратительное. – Я пишу эту открытку просто чтобы что-то написать, твердо зная что это сразу же попадет на почту. Обязательно съездите в Игль, поднимитесь на Вершину и проведите день в горах. Напишу завтра.

*Колеетт*

Мне, наверное, было лучше не звонить –

Вы, должно быть, вообразили что-то самое лучшее или худшее, тогда как это просто жизнь и ничего более – мне захотелось спросить у вас, хорошо ли вы спали, а еще я боялась, и не без причины, что не смогу вам написать –

Есть большая вероятность, что я вас очень скоро увижу – Я прошу вас до тех пор оставаться спокойным и сильным – Во всем этом и вам и мне надо быть более мужественными –

Это говорит не какой-нибудь утрированный и полубезумный персонаж, а я, такой, какой вы меня знаете –

Несмотря на почерк, объясняющийся скверными материальными условиями, я никогда еще не была столь твердой – столь уверенной

Но я опять же прошу вас ничего не воображать – ни лучшего, ни худшего –

Я собираюсь провести некоторое время совершенно *одна*, и вот тогда-то я вас и увижу. Я напишу еще вам завтра и, наверное, позвоню, так как не могу дать вам адрес и не хочу, чтобы вы чувствовали себя от этого «потерянным».

Будьте тверже, прошу вас, Жорж.

К.

Я не даю вам адреса, потому что ничего не знаю – а ничего не знаю, потому что все зависит от того, что сейчас происходит, чего-то очень важного.

Но ничего трагического. У меня действительно есть впечатление, что ничто уже не может быть «трагическим» –

И не из-за того, что имеет отношение к вам – только ко мне и Б.  
В этом я и хотела успокоить ваши возможные тревоги.

Четверг, вечер  
(Инсбрук, предположительно август) 1934

Жорж – Я не написала вам раньше, потому что прежде всего опять сложились дьявольские обстоятельства = невозможность писать, затем отнести письмо на почту, но к чему все это говорить – Я вам отправила телеграмму и страдала от того, что заставила вас ждать этого ответа до самого вашего отъезда. Весь день меня не покидало это ощущение, что вы уезжаете, а я отправляюсь в неизвестность, хотя на самом деле я «хотела» и даже *желала* вас увидеть. Но это не то, что я хочу вам сказать. Ваша любовь входит в мою жизнь, не покидает меня. Мне хотелось бы даже сказать: обволакивает меня – я боюсь – да, ужасно боюсь что-либо сказать, произнести хоть какое-то слово. Этот *страх* имеет столько причин. Я, наверное, не стою вас. Если бы не это, мы бы уже давно встретились на другом пути.

Как я могу вам говорить это и, с другой стороны, верить в иную, еще совершенно законную и мучительную реальность моей жизни? Как это возможно? Порой мне кажется, что я *должна* сделать что-то такое, что меня погубит в ваших глазах. Уметь быть ненавистной, стать еще более ненавистной, чем то, что вы ненавидите больше всего на свете. Так сегодня – я отказываюсь вам объяснять. Нет, ваше большое письмо меня не смутило. Я даже думаю, что это и есть самое важное между нами. Я чувствую, что это стоит на первом месте. Мне тем более хочется поскорее вас увидеть, чтобы поговорить откровенно, чтобы вы помогли мне понять вас целиком и полностью. Сегодня утром я так и не отправила длинное письмо, потому что я чувствовала его настолько недостаточным, полным несущественных вещей, которые саму меня удивляли – Вы видите, я сама уже ловлю себя на искусственности.

Раз уж я написала это письмо, я вам пошлю его. Меня это даже немного пугает – но тем хуже –

– Я хочу вам главным образом сказать, что я ищу не счастье, а скрытую, действенную и позитивную силу – я знаю, что заблуждаюсь – некоторые меня уже считают очень сильной, твердой и уверенной... меня никогда не удовлетворит то, что внушает уважение другим – это то, что я требую от себя, и я этого так еще и не достигла. Я не питаю отвращения к счастью, потому что некоторая радость в жизни делает сильнее, но она как раз и состоит в самом презрении к тому, что другие называют счастьем. Мне стыдно, что я так плохо изъясняюсь, но для меня самое важное это знать, быть уверенной, что вы думаете в этом направлении – ведь ваше последнее письмо это тоже проясняет – Думаю, ваше последнее письмо проясняет все. Теперь дайте мне что-то сказать – пообещайте, что сразу же забудете: я не имею *права* это говорить, но

Я пошлю вам это завтра рано утром – затем, в тот же день, записку с указанием моего адреса, которого я совершенно не знаю – и, наверное, другое письмо

– Мне нужно кое-что прояснить. Вы понимаете: вы знаете, что я никогда не достигну никакой «цели», потому что даже если это и произойдет, в этот момент мне будет важно только одно: преодолеть то, что уже больше не будет целью, но каким-то этапом. Это прекрасно, но в жизни даже это ничего не дает, если не достиг своего рода полного самообладания. Я так далека от этого. Я чувствую себя такой раздробленной. Я посчитала, что нужно реализовать *все*, что есть в тебе самом... и пришла к чудовищной какофонии, и если что-то (например, ваша любовь) напоминает мне о моей изначальной гордости, я только глубже чувствую свою теперешнюю нищету.

Меня все это интересует не как какой-то абстрактный идеализм, просто моя жизнь может начаться лишь отсюда, а затем перейти во все остальное (говоря это, я думаю о том, что имеет четкие границы, как работа, борьба и даже о том, что можно лепить

своими руками, а также отношениях и обмене с людьми, то есть том, что можно чувствовать сердцем) – и

Я уже совсем не понимаю, почему я вам все это говорю, как будто это так серьезно.

Если я часто говорю о природе, то потому, что это для меня убежище от себя самой, от всего чрезмерного, нечеловеческого, «сверхчеловеческого» – Это больше, чем убежище – я не могу вам это объяснить – бывают моменты, когда я твердо верю, что я так или иначе устрою, не знаю как, чтобы жить за городом, рядом с лесом и рекой. Я так часто смотрела на горы и небо, если однажды, подняв голову, вы увидите одинокое облачко, то можете думать, что это я пришла повидаться с вами в Фонт-Ромё –

Я ужасно сержусь на себя, что пишу вам, а не *отвечаю*, но позже у меня получится

Всего хорошего –

*Коlette*

Насчет помощи, должна вам признаться, что я испытала громадный стыд, заговорив с вами об этом, поскольку я думаю, что на самом деле приобретаешь только то, что сам завоевал. «Звать на помощь» – значит проявлять слабость, так как в этом случае происходит какой-то процесс взаимного внушения и ничего больше. Нужно *самостоятельно* выходить из положения, даже если я туманно изъясняюсь, но это легко конкретизировать и доказать.

Вы такой человек, которому мне необходимо смотреть прямо в глаза.

Это все.

Я больше не могу «объясняться», и если вы смеетесь надо мной, мне все равно.

Это столь же фатально, как и таинственные цифры, которые меня преследуют,

и все, что меня подталкивало,

и все, что со мной случается

Я пойду на почту, отделение № 28, до востребования и там, что бы ни случилось, я буду молчать, и я буду Одна

Поймите, это не имеет ничего общего с тем, что другие... со словами и вещами, которые другие говорят и видят.

Никто не может понять, это так: под этим таинственным знаком, где только я перед вами, вами... даже ироничным и жестоким, и далеким. Но я посмотрю вам прямо в глаза, хоть раз

От этой мысли о вас мне также хотелось отойти, спрятаться, отказаться – я больше не могу, я больше не хочу – Я это так поняла: когда так часто думаешь «наконец, когда я умру – перед самой смертью – я смогу сказать это имя – прокричать произнести ваше имя – также, будь что будет.



Почему я не стою перед вами прямо сейчас, ведь при мысли о вас одна лишь смерть может оказаться проворнее меня. Меня освобождал вас голос, освобождал от смерти, что хватает меня за горло и душит, погружая в неразрешимую немоту, освобождал меня от нее, когда она сжимает мою голову, но голова моя может лопнуть: я не буду больше ползать перед другими. К чему все это говорить вам, кому наверное захочется бог знает что сделать со своим страданием, вам, кому это кажется ничтожным рядом...

Я, наверное, это говорю подобно тому, как опираются на руку, и потом я это говорю от того, что я настолько уверена, что преодолею все, что вам кажется непримиримым с идеей *возможного* «счастья» между нами.

Мне кажется невероятным даже представить, что эти строки попадут к вам в руки, и я этому не верю. Все дело в том, что я живу какой-то жизнью, которая не здесь, а все время где-то далеко, как в этом чужом городе, который я принимала за другой, все время следуя путями, которые ведут в обратном направлении, а не туда, где я хочу оказаться – вот так и прошел мой день.

Можете ли вы мне позвонить сегодня вечером или ночью до [ ] или завтра утром до 10 часов в Одеон 51-40, где я сейчас нахожусь по адресу: улица Кассини, 14: Приват-Отель, и я смогу вас завтра увидеть, разве я не *счастлива*, что вы один на свете знаете, где я реально нахожусь. Если это письмо не дойдет до вас, я всегда смогу вам позвонить завтра утром.

Почему я вам сказала «я поела», с таким же успехом я могла бы сказать вам «я сходила в туалет» –

Почему вы не сказали, что у вас «не было при себе денег» – это было низко со всех сторон – я злилась на него за это – а вы, вы спокойно -----

шестьдесят франков –

Вы пришли в 3 часа, а он в 6 часов – я думала, что я его забыла ----- что буду тверда, как дерево --- что все кончено – разбито вдребезги и что тем лучше –

Но от желания этого человека у меня перехватывает дыхание – Когда у него рот кривится от желания – вот так, на глазах у всех, и глаза безумные – видеть его – видеть его лицо мне уже почти достаточно – Но это неосуществимо, тогда я назначаю встречу – и когда настает час этой встречи – все проходит, я спокойна и живу рассудком – Мне так хотелось быть с вами совершенно естественной – я не смогла – из-за этой отметины у вас на щеке – все снова могло вывернуться наизнанку – я хотела, я позволила себе играть с этим огнем

Если бы только я могла зареветь, валяться у него в ногах – чтобы все знали, видели меня –

Вы видели, как я вхожу в эту отвратительную, вульгарную роль женщины, которая *лжет* – со мной в жизни такого не случилось. Я всегда думала и по-прежнему думаю, что если бы я лгала *подобным образом*, тем более *вот так*, то жизнь, моя жизнь потеряла бы всякий смысл – Я не выношу лжи –

Наверное, это он лишает меня сна и аппетита – Это точно – я, должно быть, даже умерла от этого, если бы я *тоже* умела лгать, так гнусно, восхитительно, торжествующе –

Вы находите, что «это не имеет значения», но для меня все «имеет значение».

вы сказали также

«Вы *были* женщиной, которую я высоко *ценил*, а вы самая гнусная»

тысяча сожалений, милый друг

Я ненавижу вас за эту фразу

Не знаю, то ли вы *ничего* не понимаете, то ли вы понимаете  
– *слишком много* –

Например: я так люблю, когда люди помогают друг другу, помогать им разобраться в себе, стать лучше, быть более деятельными, менее пошлыми – и вот в те дни,

когда все *переворачивается*, и внутри у меня все горит

я люблю приукрашивать все то, что мне не нравится в мужчине – его низменные и вульгарные стороны (мы все ими наделены, не так ли).

Это как с детьми – для меня не существует более чистого источника, чем детский взгляд, голос ————— и, тем не менее, ты знаешь, что бы я охотно сделала... что я наделала — так подло... в голове своей... без всякой причины ————— я бы хотела все тебе рассказать – *во всех деталях* —————

Сегодня я еще как сучка –

Шофер – Поехали куда угодно: «в пекло, на свалку, в бордель, на бойню». Мне нужно, чтобы меня сожгли четвертовали вывалили в грязи, чтобы я вся пропахла спермой, чтобы стала тебе омерзительной – а потом ————— заснуть у тебя на плече –

моя жизнь никогда не будет там, где ты думаешь ее найти – тем хуже для меня

Д... это очень плодородный край, где пасутся стада лошадей и жеребят, они ржут и приходят к реке на водопой. Крутом поля цветов. В отеле есть бар, тебе это понравится.

Мне нужно столько сказать тебе, что я не пишу – все, что нас

Мучает, и тебя и меня: меня это ничуть не удивляет.

Если бы было по-другому, мы были бы крылатыми окапи.

А ведь окапи не имеет крыльев и, несмотря на его апокалиптический язык,

у него забавные хрупкие ноги, которые спотыкаются в тени.

Дорогой мой, я не знаю в каком ты настроении, но думаю что мы увидимся... в радужном свете.

*Колетт*

Я была совершенно разбита усталостью. Я вся корчилась, пытаюсь ее превозмочь. Теперь немного лучше, после странного приступа лихорадки.

А еще здесь серебристые буки.

Здесь много детей – Лоранс здесь тоже будет хорошо.

Жорж, нужно, чтобы от меня что-то отправилось к тебе, сейчас же, но мне, наверное, нечего «тебе написать»...

Я не совсем понимаю, что случилось в поезде, почему я тебя покинула, но мы ведь увидимся в воскресенье. И потом, ты здесь, рядом со мной, так тихо, что я уже совсем... переменялась.

Еще, все, что касается тебя, производит на меня примерно такой же эффект, как звук барабана на Кейт. Я очень люблю эту книгу («Пернатый змей»). Она намного сложнее, чем я думала. Я ее дочитала. Где ты? Ты доволен? Мы могли бы быть так «счастливы». В Даммари очень красиво, не то что в прошлом году, здесь есть очень вкусная водка, которой мне хотелось бы тебя угостить. Есть отдельный маленький домик, который мать мне хочет подарить. Это совсем рядом с Сенной, в окружении деревьев. Если тебе понравится, я бы туда приехала. Не обращай внимания. Так приятно знать, что ключ лежит под дверью. Если бы была хорошая погода, я могла бы подождать тебя в Буа-ле-Руа в субботу или в воскресенье утром, но все время идет дождь и очень сильный, тогда может лучше, чтобы я приехала в Париж.

Я могла бы также в воскресенье отвезти тебя в Марлотт, ты бы повидался с Лоранс, если она там, а я бы подождала в другом месте. Я тебе еще напишу, чтобы решить, где мы в воскресенье увидимся. Может, ты мне напишешь, что для тебя предпочтительнее.

Я бы хотела тебе что-то сказать, почти шепотом: я понимаю, что ты мне ужасно нужен, я не могу без тебя жить, и знаешь, это ничуть не уязвляет мою гордость.

<sup>1</sup> Аракс, над собой мостов не терпящий (Вергилий. «Энеида», кн.8, стих 728).

Однажды мне сказали, что я никогда не вылечусь из-за этой гордости, я думаю, что как раз в силу этой гордости я и выздоравливаю, ты должен это понимать лучше, чем я.

Разве мне не лучше в твоих объятиях, чем «совсем одной на высокой горе»?

Мне бы хотелось знать, что у тебя сейчас все хорошо.

*Коlette*

Я считаю часы до воскресенья, совсем не понимая, откуда у меня такое беспокойство насчет тебя.

Жорж, теперь все так ясно. Ты думаешь, что навсегда овладел *моим существованием* – ты его видишь совершенно замкнутым, законченным, ограниченным – ты сам предусмотрел эти границы, они тебе известны, а потом ты уходишь... жить истинной и тайной жизнью – или, по крайней мере, ты так полагаешь.

Как будто мне может быть чуждо твое истинное... как будто меня может ввести в заблуждение твое отсутствующее присутствие. Или когда ты вернулся пьяный на днях и это страшное воспоминание, которое у меня осталось.

Ты можешь думать, что нынешнее существование это отражение во мне живой реальности. Ты можешь, а я не могу, до такой степени, что если я чувствую необходимость выразить себя, то сделать это для меня было бы *возможно* только перед другим, перед другими, до такой степени, что жизнь с каждым днем все опустошается, все измельчается, как тело, которое разлагается у меня на глазах.

– Самый *христианский* период моей жизни, я пережила его рядом с тобой.

– культ этой мнимой жертвы, лишенной всякой *гордости*  
– непринужденность в разговоре о твоём отпуске, как будто эти шесть недель уже пролетели. Манера менять место, голос, тон –

– ПИШИ книги, сочини себе роман это бедное существо, которое существовало лишь благодаря моей РЕВНОСТИ

Жорж,

У тебя есть только одна возможность мне помочь.

Это не мягкость, не твое желание «ухаживать» за мной и что я зову тебя ночью: это твоя правда и моя.

Жорж, пойми: моя жизнь и моя смерть принадлежат мне. В эту минуту я так же близко как от одной, так и от другой, ни одно существо в мире больше ничего не может сделать, потому что я больше не нахожу тебя *в самой глубине* – там, где я знала, что найду тебя. Жорж, быть может, я «не люблю тебя».

Жорж, я знаю, что вчера произошло. Я это *знаю*. Я ненавидела нашу жизнь, мне часто хотелось спасти себя, уехать одной в горы (это значило спасти свою жизнь, теперь я знаю) Как только у меня в кармане были деньги, я думала об этом. Мне был ненавистен этот ритм – моей работы, наших ночей, как ты *смел* осыпать меня упреками, говоря мне о «слабости», как ты смеешь, ты, который два часа не в силах провести *один*, ты, которому нужно, чтобы кто-то другой рядом с тобой вдохновлял все твои жесты, ты, который не можешь даже *хотеть* что тебе *хочется*. Я знаю: она будет вертеть тобой как захочет, это факт.

Наша жизнь вдвоем, я в нее верю, как и ты в нее верил в первый день, когда ты говорил о доме. Я в нее верю, как верю в то, что нас соединило: в глубину твоих ночей и моих. Я отдала тебе всю себя, целиком. Теперь ты можешь вволю посмеяться, втоптать все в грязь – я даже и не думаю сердиться.

Давай, можешь все разметать, испоганить, уничтожить, послать к чертям – все, что хочешь: никогда ты меня больше не достанешь, я никогда не буду там, где ты думаешь меня настичь, там, где ты в конце концов думаешь схватить меня за горло, что доставляет тебе такое наслаждение.

Теперь, когда благодаря мне самый банальный образ принял форму мечты, желания, драмы, страсти, теперь, когда одна лишь



тихая радость освободит тебя от всех тягот, в виде самого *откровенного*, самого *продуманного*, самого *корыстного*, самого жалкого «адюльтера».

А я, у меня нет слов, я слишком много видела, слишком много узнала и познала, чтобы создавать какую-то видимость. Ты можешь делать все, что хочешь, мне не будет больно.

Как лицемерны трагики: ты хорошо это знаешь. Как была разыграна эта драма – день за днем – на моих глазах, полных презрения – или *благодаря* моим ужасным приступам, вызванным одним лишь неврозом.

Я знаю *все*, что с тобой происходило – *все* – вот уже больше года, до, после Сицилии, все, что назревало вокруг существа, которое приняло форму твоей мечты, разрушительной мечты, которая умеет разрушать, мечты, которая сводится к самому банальному из всего, что есть в повседневной действительности, тому, что кто угодно может пережить: к адюльтеру, отлично спланированному, продуманному, ловкому, искусному, пылкому, поскольку тайному. Пойми меня, она ничем не может меня уязвить, эта женщина. Я знаю – там, на улице Ренн, это зеркало, которое она вынудила тебя принести, перед которым с самого первого дня (те дни, когда ты говорил: «Колетт, я тебя обожаю») я видела, как она вертится что есть мочи, хотя к ее великому сожалению ты даже этого не замечаешь.

Она может сделать все, что пожелает, но ей не удастся меня уязвить.

Пусть думает, что может изгаляться сколько будет ей угодно. Мне действительно хотелось бы, чтобы ты знал, какое освобождение: все обратилось в прах.

Ты можешь играть с моими вещами, бросать их к ее ногам, утешать ей, меня никогда не заденет то, что исходит от нее. *Никогда*, запомни это, она не коснется того, что существует между нами двоими.

Я знаю, теперь она тебе так нравится, что «впору умереть», умереть от наслаждения. Я знаю, потому что знаю все, что ты пережил. *Все, что ты переживаешь.*

Ты там назначишь ей свидание, когда пойдешь прогуляться, а я останусь здесь, в четырех стенах. Если бы ты только знал: я могла бы помочь тебе устраивать эти свидания, я буду совершенно спокойна и счастлива, я просто укажу тебе.

Как хорошо я сумела придать ей этот ореол греховности, который тебя так *возбуждает*, этой несчастной девице, которая только и могла, что над всем «потешаться». Она следила за всеми моими жестами, чтобы их копировать, слушала мои слова, чтобы их повторять, она пытается читать мои книги, прилагает все старания, из кожи вон лезет, чтобы стать такой как я – это так *смешно*, ведь правда, что мне жаль ее *от всей души*.

Я вовсе не желаю поплатиться – связать себя в тот момент, когда я испытываю *потребность* освободиться.

Быть там в минуту свидания в лесу или в снятом номере на Сен-Жермен, или на вокзале Сен-Лазар.

Она как ненасытная пиявка липнет ко всему, хочет быть в курсе всего, что ты делаешь, говоришь, быть в курсе всех твоих замыслов, чтобы всюду встречать, оказывать воздействие. Ты уже больше ни на что не можешь решиться без ее вмешательства в твои замыслы.

Разве возможно, чтобы это так и продолжалось? *Конечно нет.*

Никакого соглашательства в том, что касается цельности, полноты... жизни. Во мне не может быть никакого соглашательства. Это ясно – ведь только так я снова и живу, избегая всего заурядного, всего того, что есть лишь

бесславию

хитростью

празднословием

Хорошо – плохо – эти слова все время вертятся на языке.

Я не могу больше плакать: меня рвет. Я не могу больше смеяться: скрежещу зубами. Как я его ненавидела, этот сухой недобрый смех, – раздавшийся, когда я его повстречала на своем пути. Мне стали понятны все мои чувства, пустые фразы, что срываются с языка, все превратные жесты, которые якобы понятны окружающим. Но я понимаю лучше, чем вы, к тому же с беспощадной иронией... я смеюсь потом таким вот долгим одиноким смехом... а затем плачу, скрежещу зубами, и меня рвет.

Подозреваю, что я с вами встречалась, с вами и с другими, затем лишь, чтобы его мельком увидеть.

Пора прекратить эту комедию и оставаться здесь, держа свою жизнь в руках, оставаться здесь даже в пустыне среди голых скал и камней, но оставаться здесь – самой собой – а не другой, что совсем на меня не похожа.

Каждый день моей жизни – вы слышите – он преследует меня. Я снова нашла его в красной земле и в грязи, в звездном небе, в ненависти и радости других людей, которую я разделяю – которую другие разделяют со мной *как по волшебству*.

Я нашла его в ужасе «пейзажа», безобразного и столь мягкого. Это так просто, как геометрия, как линия горизонта.

Все совершенно ясно, я не опьянела. Одна лишь крайняя усталость женщины-тени, что влачит свое существование, меня пьянит... и разбивает. Эта тень (моя собственная) охотно бы меня оставила на углу улицы или же она несет меня к другим теням, которых я принимаю всерьез. Но меня не сломить. Я думаю о своем детстве [.....] отдельные, прерванные, они всегда соберутся в одну большую и блестящую слезу – я нахожу его в камнях мостовой, в листве, в твердой земле и в воде, скажите ему и на этот раз уже *серьезно*, что я все то, что заставляет скрежетать зубами, хлопать

ресницами, все то, от чего с ужасом отворачиваются – нет, скажите ему лучше, что я... смешна.

Однажды он поместит объявление в *Газету* «разыскивается пропавшая собака, сука».

Быть может, мне всего и нужно, что произнести одно лишь слово, чтобы все это прекратилось – этот смехотворный ад... мерзкий... недостойный.

Зачастую я желала оказаться в эту минуту там, где умирают от «несчастливого случая». Тогда все будут повторять друг другу «последнее слово, которое она произнесла» и это будет как раз это слово – его имя.

Произнеси я его сейчас, меня бы сразила молния – ночь спустилась бы на землю средь бела дня.

Сумерки перешли бы в рассвет.

Улицы стали бы реками.

Я не пьяна. Просто-напросто: я говорю то, о чем молчала целые годы – месяцы – дни – часы.

Я это говорю

быть может вам, потому что вы настоящий

другие: это пена: то, что выбрасывают через край.

Я все испробовала: потерять себя и забыть, быть похожей на то, что на меня совсем не похоже, покончить... иной раз я обнаруживала себя настолько чужой, это становилось преступным – но с таким милым видом, и все время этот ужасно банальный и ужасно вульгарный голос:

«Твою звезду я знаю

иди, не упускай ее.

Я все испробовала, жизнь моя остается здесь, в моих руках, я тоже – *из деликатности*, из любезности, из «благодушия»! из человеческого любопытства, я попыталась потерять свою жизнь, и она вернулась, она вдруг прорвалась в источниках, в ручье, в грозе, в торжествующем разгаре дня, и она осталась скрытой, как сияющее пятно, и если он смеется: ничего не изменится, просто я буду смеяться еще громче, чем он.

## Содержание

Сергей Фокин. Лаура или «Удача» писателя .....	5
Марсель Морэ. Жорж Батай и смерть Лауры .....	25
Жорж Батай. Жизнь Лауры .....	28
Жорж Батай. Могила Лауры .....	33
Лаура. История одной девочки .....	54
Жорж Батай, Мишель Лейрис. Примечания к «Истории одной девочки» .....	85
Лаура. Сакральное .....	91
Жорж Батай, Мишель Лейрис. Примечания к «Сакральному» .....	136
Лаура. Политические тексты .....	149
Лаура. Письма Жоржу Батаю 1934-1938 .....	168

Издательства KOLONNA PUBLICATIONS  
И МИТИН ЖУРНАЛ представляют

---

**Андрей Башаримов**  
ИНКРУСТАТОР

В созданной им самим системе Башаримов достиг едва ли не виртуозного совершенства... Башаримов строит не логичные отношения, но текстовой аттракцион...

*Русский Журнал*

Читая его тексты, узнаешь: да, люди именно так нервничают, именно так думают, расстраиваются, бредят спросонья, фантазируют, анализируют, сравнивают. Именно подобную литературу следовало бы, наверное, называть реализмом...

*HF-Exlibris*

---

**Андрей Башаримов**  
ПУТОВКА

Проза Андрея Башаримова сигнализирует о том, что новый век уже наступил. Кажется, это первый писатель нового тысячелетия - по подходам свои, по мироощущению. Башаримов сильно отличается даже от своих предшественников (нового романа, концептуальной парадигмы, Сорокина и Тарантино), из которых вроде бы органично вышел. Мы присутствуем сегодня при вхождении в литературу совершенно нового типа высказывания, которое требует пересмотра очень многих привычных для нас вещей.

*Дмитрий Бавильский*

Андрей Башаримов, кажется, верит, что в русской литературе еще теплится жизнь и с изощренным садизмом старается продлить ее агонию.

*Маруся Климова*

**Егорий Простоспичкин**  
РАЗГОВОРЫ С ДОННОЙ АННОЙ

Князь Егорий Простоспичкин является одним из признанных авторитетов в области прикладной и теоретической демонологии, автором многочисленных исследовательских статей по сравнительной истории религий и индоевропеистике, активным членом ложи Свободных Каменщиков, при посвящении в которую он получил титул Комедиум, одним из патриархов древнего, как утверждается, Ордена РоСД(ТМ). Уважительно величаемый в определенных кругах Сеньором, в данной книге он предстает и как блестящий прозаик. Тонкое чувство юмора, удачные метафоры, элементы эротики, по-настоящему мрачного колорита декорации, все это дает возможность по-новому взглянуть на суровую и таинственную фигуру князя.

---

**Гарик Осипов**  
ТОВАР ДЛЯ РОТШИЛЬДА

Гарик Осипов умудряется в небольшой эпизод вместить целую эпоху - с ее слегка экзотическим ароматом, распробовать который под силу только людям, поставившим себя над временем.

*Jalouse*

Гарик Осипов раздвинул границы банального, показал, как избежать искушения превратить самодостаточность в безвкусицу.

*Playboy*

Граф Хортица демонстрирует самую правильную жизненную идею - тотального и бесповоротного эгоизма в любых внешних условиях.

ОМ



---

**Шиш Брянский**  
**СТИХОТВОРЕНИЯ**

Творчество Шиша Брянского, как и само его имя-маска, очевидно значащее партизанский кукиш захватчикам родной речи, порождены ощущением отчаянья. В качестве «лирического субъекта» собственного стихотворчества Шиш Брянский являет собой тип экзальтированного дебила, знающего и восторженно любящего поэзию Клюева, Кузмина и Есенина.

*Textonly*

Шиш явил нам свой особый путь преодоления инерции современной поэзии. За его стихи не стыдно, что они - стихи.

*Вестн*

Издательства KOLONNA PUBLICATIONS  
И МИТИН ЖУРНАЛ представляют

---

**Филип Ридли**  
СТРАХ ГИАЦИНТОВ

Филип Ридли (р. 1964) - один из самых ярких писателей британской новой волны, драматург, художник и кинорежиссер. В своих романах, рассказах, пьесах и фильмах (культовые ленты «Зеркальная кожа» и «Темный полдень») он создает мир, пронизанный черным юмором и эротическим символизмом, где нежность переплетается с жестокостью, а страсть с апатией.

В кино, театре, прозе и акварелях Ридли обнажает темную сторону человеческой природы, исследуя двусмысленность чудовищного и прекрасного.

*Observer*

Филип Ридли - писатель, которого можно назвать гением - создатель самых любопытных, гротескных и завораживающих британских пьес и фильмов последних лет.

*Time Out*

Издательства KOLONNA PUBLICATIONS  
И МИТИН ЖУРНАЛ представляют

---

**Гай Давенпорт**  
ПОГРЕБАЛЬНЫЙ ПОЕЗД ХАЙЛЕ СЕЛАССИЕ

В литературной культуре, недостаточно знающей собственное прошлое, переполненной банальными и затертыми представлениями, чрезмерно увлеченной неосмысленным настоящим, отважная оригинальность Давенпорта, его эрудиция и историческое воображение неизменно поражают и вдохновляют.

*Washington Post*

Рассказы Давенпорта, полные интеллектуальных и эротичных, скрытых и явных поворотов, блистают, точно солнце в ветреный безоблачный день.

*New York Times*

Он проклинает прогресс и защищает пользу вечного возвращения со страстью, напоминающей Борхеса... Экзотично, эротично, потрясающе!

*Los Angeles Times*

Деликатесы Давенпорта – изысканные, элегантные, нежные – редчайшего типа: это произведения, не имеющие никаких аналогов.

*Village Voice*

Издательства KOLONNA PUBLICATIONS  
И МИТИН ЖУРНАЛ представляют

---

**Илья Масодов**  
КЛЮЧ ОТ БЕЗДНЫ

Масодов - это сегодня один из лучших русских писателей, даром что не всем придется по вкусу его суровая педофильская готика с революционно-эзотерическим уклоном. Такую книгу мог бы написать Платонов, покусанный малолетними упырями.

*Weekend*

Владимир Сорокин отдыхает! Пной и сало не катят! Литературный наследник Платонова и Мамлеева, патологический «русский космист» Илья Масодов выступил с новой книгой, читать которую мы вам не рекомендуем, хотя без нее картина современной русской литературы была бы не полной.

*HF - Exlibris*

Ужасы, описанные языком Платонова, скрещенного с Бажовым и умноженным на Мамлеева, нагнетаются с сорокинским напором и мощью. Не случайно «Мрак твоих глаз» - прошлая книга Масодова - получила предупреждение от Минпечати России за многочисленные описания «убийств, глумления над трупами, непристойных сцен, провоцирующих низменные инстинкты».

*Еженедельный Журнал*

Издательства KOLONNA PUBLICATIONS  
И МИТИН ЖУРНАЛ представляют

---

**Антонен Арто**  
**МОНАХ**

Переложение готического романа XVIII века, «Монах» Антонена Арто – универсальное произведение, рассчитанное и на придирчивость интеллектуала, и на потребительство масскульта. Основатель «Театра Жестокости» обратился к сочинению Грегори Льюиса в период, когда главной его задачей была аннигиляция всех моральных норм. Знаменитый «литературный террорист» препарировал «Монаха», обнажил каркас текста, сорвал покровы, скрывающие вход в лабиринты смерти, порока и ужаса. «Монаха» можно воспринимать как образец «черной прозы», объединяющей сексуальную одержимость с жестокостью и богохульством, и как сюрреалистическую фантазию, - нагнетание событий, противоречащих законам логики. Перевод романа издается впервые.

Грандиозный шедевр фантастической литературы... завораживает читателя, переливаясь тысячами огней... дух сверхъестественного пронизывает эту книгу до самой ее сердцевины.

*Андре Бретон*

Хроника чумы и смерти, миазмы потаенных глубин человеческой души, обнаруживающей свое присутствие тончайшим переливом цветов, чудесными преломлениями и радугами, волшебным блеском черной жемчужины.

*Жан Кокто*

**Кеннет Грант**  
**ПРОТИВ СВЕТА**

Кеннет Грант (р.1924) – крупнейший британский оккультист, ученик Алистера Кроули и Остина Османа Спейра. Основатель Ложи Новой Изиды и Тифонианского Ордена Восточных Тамплиеров, – магических обществ, работающих с темной стороной кабалистического Древа Жизни. Автор девяти книг, объединенных в циклы «Тифонианских трилогий». В романе «Против света» (1997) Грант изучает свою оккультную родословную, восходящую к ведьме Аврид, казненной в 1588 году за сношения с дьяволом в образе крокодила. Русский перевод книги публикуется впервые.

«Против света» – книга для отважных читателей, готовых бродить по темным лабиринтам и разглядывать удивительные картинки в сюрреалистическом калейдоскопе. Этот роман дышит мрачной роскошью болотного царства, где твердую почву сменяет податливая трясина. Врата, которые отыскал Кеннет Грант, отворены для всех, кто рискнет погрузиться в ошеломительные извивы нелинейного повествования.

*Иэн Фрайз*

Книги издательств «МИТИН ЖУРНАЛ», «KOLONNA publications» можно купить  
в московских магазинах:

«Проект ОГИ», Потаповский пер, дом 8/12, стр 2  
«Пирог на Дмитровке» ул Б Дмитровка, дом 12, стр 1  
«Ад Маргинем», 1-й Новокузнецкий пер, 5/7  
«Фаланстер» Б Козихинский пер, д 10  
«Книжная лавка при Литинституте им АМ Горького»,  
Тверской бульвар, дом 25  
«У Кентавра», ул Чайнова, дом 15  
«Молодая гвардия», Москва, ул Б Полянка, дом 28  
«Московский Дом Книги» ул Новый Арбат, дом 8  
«БУКБЕРИ» Сеть книжных супермаркетов

в Санкт-Петербурге, в магазинах торговой сети «БУКВОЕД» по адресу:

У л и ц а П е с т е л я , 2 3  
Н е в с к и й п р о с п е к т , 1 3  
К и р о ч н а я у л и ц а , 2 3  
М о с к о в с к и й п р о с п е к т , 1 7 2  
Л е с н о й п р о с п е к т , б 1 , к о р п 1  
Л и г о в с к и й п р о с п е к т , 4  
З а г о р о д н ы й п р о с п е к т , 3 5

в Интернет:

«Озон» - [www.ozon.ru](http://www.ozon.ru)  
«Межкнига» - [www.mkniga.ru](http://www.mkniga.ru)

По вопросу оптовых продаж книг издательств  
«МИТИН ЖУРНАЛ», «KOLONNA publications» обращаться  
в ООО «БЕРРОУНЗ», телефон 095-104-68-36

Для заказа книг по почте наложенным  
платежом редакция просит обращаться по  
адресу в интернет:

[www.mitin.com/request.shtml](http://www.mitin.com/request.shtml)

## Жорж Батай Колетт Пеньо (Лаура) СAKPAЛЬНОЕ

KOLONNA Publications, Россия, 170024 Тверь, а/я 24048  
Формат 70 X100/32, объем 6,5 пл.,  
подписано в печать 5 05 2004 г  
Гарнитура Garamond Narrow  
Тираж 1000 экз Заказ № 5724  
Отпечатано с готовых диапозитивов в ОАО  
«Тверской полиграфкомбинат», гТверь, пр-т Ленина, 5





Жорж Батай



Колеетт Пеньо (Лаура)

Лаура (Колеетт Пеньо, 1903-1938) — одна из самых ярких нон-конформисток французской литературы XX столетия. Она была сексуальной рабыней берлинского садиста, любовницей лидера французских коммунистов Бориса Суварина и писателя Бориса Пильняка, с которым познакомилась, отправившись изучать коммунизм в СССР. Сблизившись с философом Жоржем Батаем, Лаура стала соучастницей необыкновенной религиозно-чувственной мистерии, сравнимой с той «божественной комедией», что разыгрывалась между Терезой Авильской и Иоанном Креста, но отличной от нее тем, что святость достигалась не умерщвлением плоти, а отчаянным низвержением в бездны сладострастия. «Святая бездны» — так назвал Лауру Мишель Лейрис, ближайший друг Батая и верный конфидент Колеетт.

Все сочинения Лауры, публикуемые в этой книге, могут быть отнесены к жанру «последнего слова». Порог смерти, на котором прожила свою недолгую и бурную жизнь эта женщина, был опорой подлинности ее экзистенциального опыта и литературного творчества.

ТИРАЖ ИЗДАНИЯ  
1000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ

ISBN 5-98144-019-8



9 785981 440199

# Crème de la Crème